

ВАДИМ
ЛЕВЕНТАЛЬ

КОМНАТА СТРАХА

«У Левентя слух зрелого поэта,
легкие молотобойца и ум молодого
математика: это Мастер, настоящий,
калибра раннего Битова»

Лев Данилкин, «Афиша»



18+

HOUSE OF FEARS

Вадим Андреевич Левенталь

Комната страха (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11080222

В. Левенталь. Комната страха: ООО «Издательство АСТ»; Москва; 2015

ISBN 978-5-17-091453-1

Аннотация

Мало написать «люблю», чтобы читатель понял – герой полюбил, и мало написать «ужас», чтобы у нас по спине рассыпались мурашки. Автор «Комнаты страха» умеет сделать так, чтобы его словам поверили. Сборник малой прозы Вадима Левенталья, блестяще дебютировавшего романом «Маша Регина», открывает новые грани его дарования – перед нами сочинитель таинственных историй, в которых миражи переплетаются с реальностью, а предметы обнажают скрытый в них огонь. Городской нуар и готическая новелла – вот жанры, которым на этот раз отдает дань финалист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА» Вадим Левенталь.

Завершает книгу повесть «Доля ангелов» – скупое, с ледяным лаконизмом рассказывающая о страшных днях Ленинградской блокады.

Содержание

Комната страха	5
Лапа Бога	5
Проснись, ты сейчас умрешь	10
Carmen Flandriae	21
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Вадим Левенталь

Комната страха

© Вадим Левенталь

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Комната страха

Лапа Бога

26 августа 1856 года митрополит Московский и Коломенский Филарет благословил на царство императора Александра. В этот же день австрийский инженер Вильгельм Бауэр погрузился в подводной лодке собственного изобретения под воду Финского залива. На борту лодки, кроме самого инженера и команды, был военный оркестр, который исполнил «Боже, Царя храни». Экипаж пел. Тогда же в Выборге, на торжествах по случаю открытия Сайменского канала, по вине пиротехников занялась огнем башня святого Олафа, и пяти-сотлетний замок сгорел дотла.

У Марии Никитичны 26 августа случилась радость: из действующей армии в родовое поместье вернулся ее сын – тридцатичетырехлетний майор второго драгунского полка Иван. По случаю приезда Ванечки Мария Никитична распорядилась накрыть праздничный стол. Охая и держась за поясницу, ключница Наталья вытащила из подвала только засоленные огурцы, Прохор, поплевав на руки и перекрестившись, зарубил трех цыплят и заколол поросенка, а сама хозяйка повернула ключ в шкафчике с наливками. Наевшись и напившись, Ваня расцеловал мать, сжав ее немощное тело своими красными лапищами, а потом, пьяный, завалился спать. Мария Никитична полночи сидела рядом с сыном: Ваня храпел, она плакала.

Иван приехал жить – не на время, а навсегда. По утрам он несколько часов гулял верхом, потом завтракал, запирался в комнате и дремал. После обеда Иван снова седлал коня и отправлялся на прогулку. С прогулки он возвращался с соседом, отставным поручиком (познакомился с ним на следующий день, как приехал), и вдвоем в столовой они выпивали за вечер штоф вина. Мария Никитична подслушала однажды их пьяный разговор и соскучилась: разговаривали они о полках, в которых служили.

Больше всего Мария Никитична хотела женить сына. «Что ж это ты, Ваня, хоть бы в церковь когда ходил», – она-то видела, сколько там по воскресеньям собирается красавиц со всей округи. В ответ на это Иван разламывал пополам куриный окорок и говорил: «Бога, матушка, масоны выдумали». Мать крестилась и испуганно умолкала. Так они прожили до конца года, а под Рождество Мария Никитична умерла. Войдя с мороза в дом, она топталась в сенях, отряхивая снег, побледнела, села на скамью, чтобы отдышаться, и через две минуты тяжело осела на пол. На грохот прибежала Наталья и успела разглядеть последнюю осмысленную искру в глазах своей хозяйки.

Смерть матери огорчила Ваню. Хоронили после праздника, он распорядился налить всем крестьянам по стакану вина и впервые (если не считать детских лет) оказался в церкви, на отпевании. Батюшке дал десять рублей, чтобы старался. С отставным поручиком на следующий день почти поругался: мать или родина есть самое святое для честного человека.

В феврале Иван охотился на зайцев, а в апреле сошелся с девкой Прасковьей: от нее пахло, но не сильно. В остальном Иван вел прежнюю жизнь: гулял и дремал перед обедом, пил вечером с отставным поручиком. Наталья ходила по дому раз в неделю с мокрой тряпкой, кряхтела и охала. Теперь за столом Иван обычно говорил ей: «Разбаловалась! при матери небось такого...» Наталья прятала глаза и подносила к ним платок.

Летом было жарко. Иван гулял верхом дольше обычного, вечером больше пил и один раз подрался с отставным поручиком, после чего тот целую неделю не приходил. Дремать на жаре было тяжело. Прасковья пахла хуже, чем весной, и глаза у нее стали наглые.

После Успенского поста Иван велел начистить свой мундир и за обедом сказал Наталье, чтобы готовила дом к свадьбе. «Когда, батюшка?» – «Не знаю, не знаю. Две недели... может, три». После чего оседлал коня и отправился искать жену. За четыре дня Иван объездил все окрестные дома, в которых были девицы на выданье. Приехав, он садился за стол и пристально разглядывал предмет своего интереса. Девицы рдели, родители стеснялись и говорили про урожай. Иван молча смотрел и слушал, потом наедине с отцом выяснял «деликатный вопрос».

На пятый день Иван не поехал на прогулку утром, заперся в комнате и полдня яростно ходил из угла в угол. Наталья поняла, что дело серьезно, и полезла в погреб. После обеда Иван снова ходил по комнате, вечером велел сказать отставному поручику, что его нет дома, и потом еще до утра не ложился спать. Из всех девиц он выбрал не самую красивую, но самую спокойную – руки у нее, когда он смотрел на нее, не дрожали, только щеки равномерно полыхали. На пианино она не играла, но это же и плюс: не надо тратить на инструмент. Звали девицу Елизавета, давали за ней тысячу рублей.

Родители удивились, что так быстро, но оттягивать не рискнули. Следующие две недели Иван изо всех сил орал на Наталью и еще двух баб, которых она взяла в помощницы: к свадьбе дом сиял, столы, накрытые перед крыльцом, ломились. Праздновали три дня: на третий день Иван допился до того, что велел вылить в озеро бочку вина, чтобы рыбы в воде тоже выпили за его здоровье. Мужики молча, сжав зубы, выполнили приказ. Лиза испугалась и бледная сидела в комнате, мать ее гладила по коленям и сдавленно говорила: «Ну, доченька, теперь уж что...»

Через неделю после свадьбы Елизавета наконец пустила Ивана к себе в спальню. Иван ждал большего, но списал всё на неопытность девицы. Потом она прижималась к нему, дрожа (боль еще не отпустила), и шептала: «Я обязательно полюблю вас». Иван мыкнул и, скучая, заснул.

Через семь недель Елизавета понесла. Она стала прижимать руки к животу, глаза ее иногда затуманивались, и за обедом она вдруг сказала мужу, что неплохо бы ему сделаться солидным человеком, лучше всего предводителем. «Чем ты, матушка, недовольна?» – спросил ее Иван и велел подать вина. Вместо ответа Лиза сказала, какой ужасный человек этот его поручик. Ночью после этого разговора ему первый раз привиделся сон, будто в животе его жены дети висят гроздью, как виноград, и будто бы он тоже вместе с другими детьми висит на этой грозди. Бог (во сне Иван знал, что это Он) рукой, страшной, как выкорчеванный пенёк, отщипывал от грозди по человеку и куда-то уносил.

Теперь этот сон снился ему почти каждую ночь: Иван просыпался от ужаса, боялся заснуть, стал пить перед тем, как ложиться, но сон возвращался снова и снова. Живот у жены разрастался с каждой неделей. По ночам Иван плакал от бессилия. Однажды утром, смурной и серый, он сел на коня и поехал в церковь. Со дня свадьбы священника он не видел. Иван заставил его отпереть церковь, дал ему десять рублей и велел исповедовать. Батюшка выслушал и сказал, что дьявол искушает его. Что рука, которую он видит во сне, без сомнения, рука врага рода человеческого. Погрязших в грехе людей этой страшной лапой он утаскивает в ад. И чтобы избавиться от наваждения, нужно соблюдать пост, молиться и отказаться от порочных страстей.

Иван в ярости вылетел из церкви, напился с отставным поручиком, а потом поехал к девке Прасковье. Прасковья приняла его с радостью, и с этого дня Иван почти каждый вечер проводил у нее. Сон, однако, не отпущал.

Отсутствие мужа по вечерам стало слишком заметно, Елизавета мучительно допрашивала Наталью, и та наконец выложила ей всё. Услышав про Прасковью, Елизавета побледнела. Сердце ее бухнуло так сильно, что желчь из печени пролилась в матку. Ребенок, родив-

шийся через месяц, имел всё, что полагается иметь здоровому младенцу, только кожа у него была по-стариковски жухлая.

Посмотрев на мальчика, Иван заперся у себя. Весь вечер из-за двери слышно было, как он бьет кулаком по столу. Ночью ему снова привиделся тот же сон. Спать с женой Иван перестал и обед велел поднимать ему наверх. В доме стало тихо.

В сентябре в деревне появился Федор Колесо – старец, известный тем, что многих обратил в христову веру. Говорили, что в Твери он заставил уверовать одного безбожника: сказал тому положить ладонь на стол, а как положил, воткнул в нее хлебный нож так, что кончик ножа вошел в столешницу. От боли и неожиданности безбожник уверовал, а как уверовал – рана тут же срослась. Колесом же старца звали потому, что в молодости он на спор перебрасывал тележные колёса через лошадь и тем зарабатывал себе на хлеб.

Всё это Наталья шепотом рассказывала Елизавете, Иван подслушал у дверей, а потом поймал ключницу в коридоре и буркнул ей, чтобы привела старца. «Что, отче, пьешь ли ты водку?» – спросил его Иван. Федор размашисто кивнул и сказал, что пьет. Иван приказал принести закуски. Первую бутылку они выпили молча, Иван подвигал старцу грибочки и огурцы. Потом он спросил: «Что, отче, тяжелая это работа – безбожников в христову веру обращать?» Федор помотал бородой: «Глупости тебе, барин, про меня наврали. Живую душу нельзя заставить, только Бог может. А беспокойная душа сама Его найдет». – «А что колёса кидал, не наврали?» – «Кидал, барин, было дело, потому и зовут меня Колесом».

Иван крикнул Наталью, чтобы принесла еще бутылку. Федор вдруг поднял глаза на Ивана и стал пристально в него вглядываться. Ивану стало неуютно от этого взгляда, и он снова спросил старца: «Ну, кидал колёса, это дело бывшее, а теперь-то чем занимаешься?» – «Теперь я, барин, не руками – глазами работаю. Хожу, учусь». Иван хохотнул: «Поздновато, отец, учиться вздумал, помирать тебе скоро, а ты за скамью». Старец не опускал взгляда: «Помирать всем скоро, а учусь я не на скамье: много ли, за ней сидя, поймешь. Моя учеба – на мир смотреть». Иван уже был пьян и говорил громко: «Ну смотри, смотри, старикан, учись», – махнул рукой и налил еще.

Выпив с Иваном, Федор достал из-под рубахи большой бронзовый крест, снял его с шеи и выложил на стол. «Вот, к примеру, скажи мне, что это?» Иван растянул на лице широкую ухмылку и пробасил: «Это, отче, есть святой и животворящий крест». Старик впился в него глазами, Ивану казалось, что это не глаза смотрят в него, а какие-то стеклянные приборы вроде тех, что были в ходу у артиллеристов. «Нет, барин, не то, – сказал старик, – не то».

Иван громко выдохнул, отодвинулся от стола и встал, пошатнувшись. В тот раз он спровалил старца и завалился спать. Во сне похожая на выкорчеванный пенёк лапа шастала пальцами рядом с ним. Иван слышал странный щелкающий звук, когда она хватала добычу.

Зимой Елизавета ходила по дому в халате и стала иногда пить наливку. Встречая случайно мужа в коридоре, она прижималась к стене и вслед шипела: «Не смею беспокоить, ваше благородие». Иван чертыхался сквозь зубы. Младенца запирали в комнате на первом этаже, и когда он начинал кричать, Елизавета била его. Поручик куда-то пропал, Прасковья плакала и просилась замуж. Иногда Иван брал в сарае топор, ехал в лес и рубил деревья. Мужики пожимали плечами и потихоньку утаскивали нарубленное. Глаза у Ивана стали пухлые, будто были полны гнили.

Весной Федор сам постучал в дом. Наталья пустила его в сени, и он прождал там три часа. Иван пять раз спросил Наталью, не ушел ли старик, и, когда она пятый раз ответила, что сидит, махнул рукой, чтоб вела. Иван наливал старику, но чаще наливал себе. Колесо пил спокойно, будто в целовальне. Оба молчали, даром что не на поминках. Наконец Иван взревел: «Ну что?» Тогда старик спокойно достал из-под рубахи крест и снова спросил: «Что это?» Вместо ответа Иван отпихнул стол, шагнул к старику, схватил его за ворот рубахи и

вытолкал вон. Запершись, он до самой ночи орал на весь дом: «Иди к черту!» Перед сном он плакал, а во сне опять видел страшную корявую лапу.

Лето было хуже некуда: солнце выжгло поля и высушило болота. Старики мерли от удушья, попы не успевали отпевать людей. Новорожденные истошно визжали, мужики худели, у баб поголовно окоровели глаза. Озеро высохло, и дно его оказалось усеяно дохлой рыбой. Лес, в котором Иван зимой рубил деревья, целиком сгорел. Младенец стал ползать по дому, Иван бегал от него. После Петрова поста он отдал Прасковью замуж, сунув мужику тридцать рублей. В августе она умерла в родах. Плод оказался задушен пуповиной.

Однажды Иван понял, что он один. Когда он невзначай сболтнул это Наталье, та смяла ладони и сказала: «Как же это один, вот и ребеночек у вас, и соседей сколько». – «Пошла вон», – тихо отправил ее Иван.

Осенью, когда вода обрушилась с неба («За всё ведро», – зло говорили мужики), Иван уже ждал Федора. «На этот раз убью», – думал он. Федор пришел, и они вдвоем молча выпили три бутылки. Крест старик не доставал, и повода убивать его не было. Иван успокоился. «Ты спи, отец, внизу, старуха тебя положит», – сказал он ему, зазевал и лег спать, не раздеваясь. В столовой Наталья поставила старцу скамью, принесла ему одеяло и часа с два промучила его, исповедуясь. Наконец Федор приказал ей не есть мучного и дал маленькую бумажную иконку. Наталья расплакалась, поцеловала ему руку и ушла.

Ночью Федор встал со скамьи, пошарил в сумке, вытащил моток веревки, тихо поднялся наверх и вошел к Ивану. Луна светила в окно, всё было хорошо видно. Федор не торопясь связал Ивана: правую руку через спину привязал к левой подмышке, левую руку привязал к бедру, а правую ступню привязал к левой с левой стороны. Ивану во сне казалось, что тошнотворная лапа ощупывает его со всех сторон. От страха на штанах у него растеклось мокрое пятно, Федор бормотнул: «Это ничего». Потом старик присел на край кровати собраться с силами, посидел минуту, перекрестился, встал, снял со стены саблю в ножнах и с размаху плашмя ударил ей Ивана по спине, так что треснули, шелкнув, ножны.

Иван истошно заорал и проснулся. Старик стоял над ним, в руке у него был крест: «Что это?» Иван стал дергаться, извиваться на кровати и кричать, Федор спокойно стоял и повторял свой вопрос. Обессилев, Иван отполз к стене и сквозь зубы сказал: «Крест». – «Не то», – ответил старик и сел на стул. «Ты сумасшедший, – сказал Иван, – ты, старик, с ума сошел. Что же это как не крест? Ты же в Бога веришь, это же Христа твоего на кресте распяли». – «Не то», – мотнул бородой Федор. Иван еще раз подергал руками: веревки не ослабевали. «Ну хорошо, – сказал он после долгого молчания, – это бронза, да? Крест ведь из бронзы. Что скажешь?» Старик посмотрел в окно, потом повернулся к Ивану и снова сказал: «Не то». Иван рассвирепел: «Да кто ты такой, черт тебя дери?» Старик сощурился: «Я к тебе, Иван, не просился, сам позвал».

Битый час Иван сыпал старику ответы: металл, символ, фигура, угол, крест, спасение, жизнь, страдание, крест, крест, Христос, Бог, смерть, четыре угла, крест, крест. Старик только спрашивал: «Что это?» Мокрое пятно на штанах уже начало высыхать. Федор схватил Ивана за шею, стащил его с кровати и повел вон из дома. Церковь была неподалеку, но шли они медленно: Иван перебирал связанными ногами, как ребенок, и старику приходилось поддерживать его. Подойдя к церкви, старик ткнул пальцем в купол: «Что это?» Иван чертыхнулся. Войдя в ограду, Федор потащил Ивана за церковь, на кладбище. Там он водил Ивана по дорожкам и, кивая на могилы, спрашивал. Федор покорно выдумывал ответы, и старик терпеливо говорил: «Не то». У одной из могил Иван рухнул на землю и, тупо уставившись в каменную плиту, тихо спросил: «Что это?» Федор беспокойно наклонился к нему, посмотрел в глаза и сказал: «Что, неужели начал понимать?» Луна полыхала в чистом небе, тень от церкви косо перерезала маленькое кладбище пополам. Иван покачал головой: «Ничего я, старик, не понял, иди ты к черту». Тогда Федор ухватил Ивана за шею, рывком оторвал его от

земли и стал носить по кладбищу, тыча пальцем в деревья, камни, траву, небо, луну, купол, сухие ветки, поленницу у церковной стены, вылезшие из земли корни, скамьи и ограды, кресты, птичий помет, надписи на плитах, потом вывел за ограду и стал тыкать в дома, скамьи, собачьи будки, телеги и сеновалы. Каждый раз он орал Ивану: «Что это?» Уже на кладбище Иван заплакал, в селе он разрыдался и покорно обвис у Федора в руке. Наконец посреди села он перестал плакать и тихо засмеялся. Старик разжал руку, Иван сел на дорогу и громко расхохотался. Радостный смех душил его, он поднимал голову на старика, кивал ему и сквозь смех что-то пытался сказать.

Федор улыбнулся, сел рядом с Иваном, развязал его и обнял. Иван корчился от смеха.

Утром Иван велел Наталье завязать себе в узел хлеба и ушел вместе с Федором. Елизавета визжала ему вслед, чтобы не возвращался, Наталья испуганно молчала, мужики тихо показывали друг другу на лбы и искоса провожали взглядом шагающего вслед за стариком барина. «Уверовал», – крестились бабы.

Это было в сентябре, и много лет потом на дорогах видели шагающего Ивана: с военной выправкой и привязанной к левой подмышке правой рукой.

Проснись, ты сейчас умрешь

1

Окончательно всё стало складываться, начиная с того момента, – я шел по мосту Лейтенанта Шмидта и – иногда бывает, вдруг слышишь забытый запах так отчетливо, будто это не эффект памяти, а именно что те же самые молекулы вдруг осели на слизистой носа – короче, я делал вид, что чешется нос, а сам нюхал свои пальцы, – когда раздался звонок.

Лило как из ведра, молнию на куртке заело, мне пришлось перехватить зонтик подмышкой, согнуться в три погибели, чтобы расстегнуть куртку и достать из внутреннего кармана телефон, и вот таким знаком вопроса на горбу моста я судорожно нажал кнопку, прижал телефон к уху и услышал Степаныча:

– Что нового?

Я сказал, что ничего. Он пожевал еще какие-то слова, что у него тоже ничего особенного, что что-то такое движется, но что – пока ничего определенного, потом спросил:

– Ты кому-нибудь говорил?

Я сказал, что нет, и Степаныч отключился со словами:

– Ну давай там.

Я сунул телефон обратно, рывком затянул молнию и пошел дальше, бормоча под нос ругательства: ветер забрасывал воду под зонт, фуры, грохочущие по металлическим сочленениям моста, поднимали за собой водяную взвесь, и я с завистью поглядывал на белую громаду лайнера, который приплыл из черт знает каких стран, где уж точно не бывает такого омерзительного дождя, – но дело было даже не в этом – из-за звонка я забыл запах. Он выветрился из памяти, осталась лишь сухая логика: мальчик, ловивший на пальцах запах своей первой девочки, шел от нее по этому же мосту, удаляясь от ее милого, полудетского, но что до деталей – уже в дымке неразличимого лица со скоростью семнадцать лет в три шага.

Поэтому, а не просто из-за дождя, у меня было поганое настроение. Нужно было где-то спрятаться ненадолго, но в этом чертовом районе ведь нет ничего – прошла целая вечность, прежде чем я набрел наконец на какую-то дверь: оказалось, ночной клуб. Клуб как клуб, народ только собирался, я сел у стойки и стал ждать, пока можно будет что-нибудь заказать: барменша (с лицом, которое было бы симпатичным, если бы не безудержный пирсинг) болтала через стойку со своей подружкой. Подружку я плохо видел: мешала конструкция стойки. Я ждал, ждал, потом не вытерпел, довольно резко что-то буркнул, тогда девица нехотя обернулась ко мне, а подружка на мгновение наклонилась, чтобы посмотреть на меня.

Через минуту, со стаканом в руке, я уже думал, что бы такое сказать, – мне хотелось, чтобы она еще раз наклонилась: в первый раз я ее не разглядел. Ну и я ничего лучше не придумал, кроме как спросить:

– Почему «Сушка»?

– Что? – Ряды колец мотнулись в мою сторону.

– Почему называется «Сушка»? Вы тут что, сушки едите?

Барменша иронически посмотрела в сторону своей собеседницы и повернулась ко мне спиной: из мигающей темноты к ней требовательно тянулись мятые сотки.

– Все люди делятся на два типа, – подружка еще раз на мгновение наклонилась, чтобы убедиться, что я ее слушаю, и снова я не успел разглядеть ее, – одни спрашивают, едят ли тут сушки, а другие – что тут сушат.

– А вы, значит, праведников отправляете в рай, а грешников в ад? Куда тех, кто спрашивает про сушки?

Она встала, но из-за ее лица в меня теперь впериался то белым, то синим пульсирующий софит, и я всё равно ее не видел, только слышал, как она сказала, уже отворачиваясь:

– Мы подумаем!

Она пошла в сторону сцены и по-хозяйски вспорхнула на нее, но удивиться я не успел: затрещив телефон – не из куртки, из джинсов, значит, было пора. Я быстро сказал, где меня ждать, махом допил бурбон и вышел на улицу; девчонка как раз устраивалась у клавиш, я успел услышать первые переборы, прежде чем самому со своим зонтом стать музыкальным инструментом: дождь, кажется, лил только сильнее.

Вот единственный мой просчет за все эти дни: я успел забыть, что в Петербурге путь из А в В никогда не равен пути из В в А, и оказался на унылой узкой набережной сильно раньше, чем надо было. Спрятался в подворотне – пахло, как обычно, но когда куришь, не так заметно. Пару сигарет я выкурил, вышагивая из одного чернильно-черного угла в другой, коричнево-черный от мерцающего во дворе фонаря, пока не дернулся снова телефон в джинсах.

– Ну вот я стою, тут арка такая большая, прямо напротив.

Я сказал ему, чтобы ехал неторопливо вокруг Новой Голландии.

– Новая Голландия? Это что такое?

Я объяснил, что справа от него темное пятно и есть Новая Голландия; он, кажется, обрадовался.

– Так а вы-то где?

Пришлось сказать ему, чтобы делал, что говорят.

Его труповозка два раза прошелестела мимо – фары выхватывали рыбки глаза луж и мокрые щупальца кустов с той стороны канавы, – «хвоста» за ним не было. На третий раз я заранее вышел из укрытия и, резко схлопнув зонт, шагнул навстречу его «лексусу» – оказалось, это у него «лексус». Парень был на редкость общительный и довольный жизнью.

– А чего вы назад? Хотите вперед? – Я отказался. – Куда двинем? тут постоим? или вокруг ездить? О'кей. Прикиньте, двадцать лет живу в этом городе и не знал, что это Новая Голландия называется.

Святая, блин, невинность – костюм, кожаный салон и кокаин в шоколаде. У него даже визитная карточка была: финансовый аналитик. Я хмыкнул, когда он мне ее протянул.

– В общем, по вашему вопросу... – Он что-то бодро, но очень путано стал объяснять «по моему вопросу», куда он звонил и с кем говорил; имена все были незнакомые. – Честно говоря, надо мной смеялись, конечно, когда я говорил. Типа, а «Газпром» тебе не нужен и всё такое. Я и сам за сомневался, подумал, может, это типа розыгрыш или что? – Он всё взглядывал на зеркало, пытаясь разглядеть меня, но я знал, куда сажился. – В общем, сегодня утром звонок был. Сказали, что, может быть, что-то и есть, но, типа, хотелось бы услышать конкретные пожелания и всё такое. Андрей Петрович – ничего не говорит вам? Мне тоже. Это он сказал, что он Андрей Петрович. В общем, формат дальнейшей работы... – Он стал с удовольствием объяснять, сколько денег он хочет.

Сквозь тонировку видны были только бледные, смурной пеленой подернутые углы – фонари, окна, стоп-сигналы, – кружась, заворачивали, заворачивали мимо – из иллюминатора подводной лодки, скользящей по дну моря, думал я, так смотрелся бы бледный блеск ворованного золота (ведь золото всегда ворованное).

– Так что, мы созвонимся завтра тогда? – Он остановил машину у той же подворотни, где я сел к нему.

Я уже взялся за ручку двери, но подумал, что все-таки должен сказать ему, хоть он и не поверит.

– Если хотите моего совета, – сказал я, – исчезните как можно скорее. Выбросьте мобильный телефон, переоденьтесь, оставьте машину и на электричках куда-нибудь подальше. Домой не заезжайте – это будет лучше всего.

– Чего?

Что еще я должен был ему объяснить? Дверь за мной мягко чмокнула; я хотел раскрыть зонт, но оказалось, что дождь перестал. Труповозка секунду еще помучалась, а потом, вскипав лужу под собой, прыгнула вперед и умчалась.

Я повернулся: передо мной, завернутая в сальное плюшевое пальто, стояла маленькая старушечья фигура – и когда старуха подняла голову (она была лысая, эта голова; пучки волос торчали из нее, но похожи были скорее на плесень, заведшуюся от грязи и сырости), я бы закричал, если бы горло не перехватило от ужаса и омерзения, потому что у нее были цепкие и жадные глаза, одним из которых она подмигнула мне, двинув носом вслед «лек-сусу», – и я почти застонал, во всяком случае какой-то воющий звук стал рождаться у меня под ребрами, но старуха уже обогнула меня и засемила дальше. Руки ее были сложены за спиной, и тряпочная пустая сумка раскачивалась из стороны в сторону.

Черные холодные волны ужаса захлестывали меня одна за другой. Оказаться в квартирной пустоте и темноте теперь было бы смерти подобно, мне как воздух нужно было людное шумное место – страшные старушечьи глаза всё плясали передо мной, меня передергивало. Оглядываясь, я видел только влажную хищную темноту.

Ритм ходьбы, бессмысленный обрывок речи «мы подумаем», закусывающий свой собственный хвост на бесконечном реверсе, – шагая, я как будто запеленывал старуху в эти два слова, и наконец я остановился. Сердце мое заколотилось как с цепи сорвавшись, мне вдруг пришло в голову, что я, кажется, забыл из-за всей сегодняшней суеты принять таблетки, и значит, надо их принять, но главное – что, может, и не было ничего такого страшного в простой как блин коломенской старухе. Тем не менее стеклянная дверь «Сушки» светилась, и не зайти теперь было бы глупо.

Оказалось, что она поет. Вечеринка подходила к концу – наверное, поэтому она пела что-то меланхолично-медитативное. Я успел выдуть полстакана, а она раз сто, наверное, повторила:

... When you die asleep your dreams will keep on going.
When you die awake you just die...¹

Потом, когда она спустилась и села рядом со мной, я, чтобы завязать разговор (а она оказалась очень, очень красивой: изысканное лицо с длинными глазами, резными скулами и решительными, плотными мазками губ), я спросил, про что была песня. Она повернулась ко мне, отхлебнула из стакана и сказала:

– Это буддийская песня. Про то, как правильно умирать.

Мне кажется, я теперь только понимаю немножко, что она имела в виду; тогда-то я просто пропустил ее слова мимо ушей – гораздо больше меня занимали движения Надиных губ. Она спросила меня, чем я занимаюсь, я сказал, что в данный момент я private investigator (шутки про шляпу-сигару-роковую-красотку), я спросил, сколько ей лет (*на вид шестнадцать, но когда вы поете – как будто тридцать пять*), потом мы гуляли (город разъяснело, и он стал похож на выстарившееся июньское серебро; мне пришлось признаться, что я больше десяти лет не был в городе, так что и не знаю, где теперь прилично ночью поесть), она всё расспрашивала про Лондон, а я старался разговорить ее: хотелось слушать и слушать

¹ Умирая во сне, продолжаешь спать. / Когда умираешь, проснувшись, – умираешь совсем (англ.).

ее голос, всю ночь, – наконец мы оказались на улице Репина и решили, что глупо ей теперь ловить машину и ехать черт знает как далеко.

Хотел бы я посмотреть на человека, который на моем месте уже мысленно не раздевал бы ее. Но когда мы поднялись и я попытался ее поцеловать, она вывернулась и сказала, что трахаться со мной не будет. Я вздохнул и (мы были пьяные) пропердел губами, но – нет так нет, все эти школьные игры – час на футболочку, час на лифчик, час на штанишки, час на трусики и полтора часа на то, чтобы уговорить ее раздвинуть ножки, а потом уже ничего не хочется, кроме как двинуть ей по голове, – нет, нет, не для меня; налил себе коньяку, показал Наде ванную и пошел спать. Уже падая в обморок сна, я подумал, что таблетки так и не выпил.

2

Наутро я обнаружил ее рядом с собой в постели (*извини, нигде не было постельного белья; ты уже спал...*), но не приставать же к Изольде утром, да и какой из меня Тристан с перегаром. Она юркнула дальше в сон, я пошел на кухню давить сок, и почти целый стакан надавил, как вдруг зазвонил телефон, и я вспомнил, что должен встретиться с Юрой. Я отодвинул занавеску и увидел, как он расхаживает вокруг колонны, выговаривая мне в трубку, что меня уже пять минут как нет. Я сказал ему, чтобы успокоился и посидел на скамейке еще минут десять, быстро собрался, добавил сок, поставил стакан рядом с Изольдой и у стакана положил вторые ключи – точно, сентиментальные жесты, *I'm loving it*.

Я вообще-то не лукавил, когда говорил Степанычу, что не хочу в Питер, – страшно и опасно, но в некотором смысле был тут и плюс – Юра. Юра теперь был в костюме, и, похоже, дорогом (так и не сел, ждал меня стоя), а когда-то носил рваные джинсы – это был такой шик, в рваных джинсах вылезать из отцовской машины (что это были за машины, кто сейчас упомянет? тогда, когда рваные джинсы не были модой, а были просто рваными джинсами). Я ждал чуда узнавания – того же нытья и восторга, с которым сердце встретило и сам Румянцевский сад с угрюмой, всеми забытой колонной и пустой летней сценой, и захламленные задворки Академии, и вид на верфи: стая слетевшихся на падаль стальных птиц, – но нет, Юра был просто доброжелательный делец, с таким боязно иметь общие воспоминания. Я отдал ему фотографии и конверт. Прощаясь, я сказал ему «спасибо», а он сказал «пока не за что», но я подумал, что все-таки есть за что – что хотя бы не стал пересчитывать. Юра уехал, я еще покурил на скамейке. Дул ледяной ветер, небо было прозрачное, фарфоровое. Если бы я дал себе волю, я бы расплакался от невозможности раствориться без остатка в недвижимой ледяной прозрачности Петербурга.

Степаныч дозвонился до меня именно в этот момент.

– Послушай, Степаныч, ты же сам сказал мне сидеть на жопе ровно и не высовываться. Дать знать тебе, если на меня будут выходить, так? А теперь спрашиваешь меня, что я делаю. Сажу на попе ровно.

Степаныч расхохотался:

– Ты вылитый отец. Тот тоже по несколько месяцев лежал ногами вверх, а потом – вихрь, только успевай за ним.

Я промолчал.

– Извини. Я очень любил твоего отца. Ну, если что – звони.

Меня не так долго и не было: я только сходил купить апельсинов и свежий батон, – но когда я вернулся, кровать была застелена и стакан вымыт. В квартире было отвратительно тихо, и я, чтобы не слышать этой тишины (смешно, но Степаныч был абсолютно прав: главное для меня теперь было ждать звонка парня на «лексусе» – я ни секунды не сомневался, что он плевал на мои предостережения), в общем, я лег спать. На подушке рядом со мной

лежало несколько ее волос, я внюхивался как мог и – может, мне казалось, а может, действительно подушка еще хранила сладкую тайну Изольдиного запаха.

В «Сушке» я торчал каждый вечер (даже мисс-пирсинг перестала воротить от меня нос), так что, не исключено, какие-то моменты могли перетасоваться в памяти, в тот день так и вовсе: вечером я проснулся с ощущением, что проснулся не до конца, добрал до клуба как будто в каком-то молоке (пока я спал, ветер надул дождь, и опять стояла морось), причем, пока шел, даже взглянул раз на свои ладони – убедиться, что я это не во сне иду, – кто-то мне говорил, что во сне посмотреть на собственные ладони невозможно. Наверное, все-таки в этот вечер, когда я только успел сесть за стойку и ткнуть пальцем в бутылку, со сцены раздался ее голос, что среди нас-де тут частный детектив detected и что ему она посвящает сегодняшнее свое выступление, – и после этого целый час пела до каждой нотки родные “Sway”, “Put the Blame on Mame”, “Amado mio” и еще почему-то “Quizas”. В этот вечер или потом пела она снова «буддийскую песню про то, как правильно умирать», я не уверен. Но в один из вечеров – точно, потому что с первого раза я бы ее не запомнил.

Время от времени она спускалась вниз и садилась рядом со мной, но мы уже не пили столько, сколько в первую ночь, – ни в этот вечер, ни потом. Тем более что в этот вечер я дождался-таки звонка, вышел на улицу, чтобы поговорить (парень лопотал преувеличенно бодро; я сразу понял, что всё срослось, и не раздумывая назначил следующую встречу в Румянцевском саду), а после этого уже не вернулся в клуб: прощаясь с «финансовым аналитиком», я заметил на той стороне улицы лысую старуху.

Я машинально сделал несколько шагов за ней – и потерял ее из виду, но потом, когда она снова появилась, я стал ее догонять – нужно было заглянуть ей в лицо, но чувствовал я себя неловко: мало ли – не та. Я довольно долго шел; случая невзначай взглянуть на нее не представилось – она не прятала лицо, просто так получалось, – наконец она исчезла, неожиданно нырнула не то в подворотню, не то в парадную; оглянувшись, я судорожно вдохнул, выпрямляя спину: из фиолетовой темноты неба выступала арка Новой Голландии.

Мне пришло в голову, когда я переходил обратно мост (то ли протрезвел, то ли старуха – настроение стало поганее некуда), что Новая Голландия и Румянцевский сад могли бы быть (точнее: всегда были) шляпками двух винтов, которыми мой Петербург прикручен к небытию, к Неве. Новая Голландия – пустая, заросшая, полуразрушенная – со своей циклопической торжественной аркой – может, только на ней и держится еще имперский, римоподобный Петербург, и стоит хищным нетопырям со своими говенными инвестициями добраться до нее, чтобы устроить тут омерзительный Гамбургский вокзал, как весь город со скрежетом открепится от болота и, накренившись, зачерпывая воду, поплывет в открытое море.

Потом Надя смеялась, мол, всегда ли я, вместо того чтобы дать девушке свой телефон, даю сразу ключи от квартиры. Я сказал, что только если девушка знает, как правильно умирать, но, кажется, комплимента не получилось. Это было на следующий день, когда я фотографировал ее. Я понял, что нужны ее фотографии, после встречи в Румянцевском, за которой я наблюдал из кухонного окна. Приехал черный тонированный “BMW”, с заднего сиденья вылез бледный финансовый аналитик.

Сначала он ходил вокруг колонны, потом стал названивать (телефон беззвучно мигал на моем столе). Через двадцать пять минут он посмотрел в сторону машины, кивнул и медленно, оглядываясь, пошел обратно, но за несколько шагов до труповозки (я даже успел разглядеть его глаза – они были как будто затянуты какой-то пленкой) он неловко подпрыгнул и побежал в сторону Репина. Из машины два раза хлопнуло, парень дернулся, махнул руками и на лету грохнулся головой о поребрик. «Бэха», тихо шурша, отчалила.

Надю я фотографировал сначала в клубе – на сцене, за стойкой, получалось темно на темном фоне, аппарат не слушался (я даже инструкцию прочитать не успел) – а потом в квартире; тут удалось застать ее врасплох в залитой галогеновым светом ванной на фоне

белого, как зубы, кафеля, – то что надо. Она с треском захлопнула дверь, а я выбрал кадр, на котором она только обернулась и еще не успела раскрыть рот, и набрал Юру. Сначала продиктовал ему номер «бэхи», потом спросил, как там документ.

– Утром уходит в работу, а что?

– Мне еще один нужен.

– Еб твою мать, а владычицей морскою ты не хочешь, а?

– Рыбонька моя, don't worry, я знаю ценник. Премия за мозгоебство полтарифа. Ну?

Юра вздохнул и сказал, что постарается.

– Совсем такой же?

– Нет, это девушка.

– Я так и знал, люди не меняются. – Юра расхохотался. Перестала шуметь вода в ванной, я быстро договорился с Юрой и бросил телефон в сторону. Надя была прекрасна, как свежерожденная Венера, и даже позволила себя поцеловать, но когда я попытался скользнуть ладонью под халат, вывернулась и сказала, что не спит с наглыми частными детективами.

– А с кем? – что я еще мог спросить?

– Только с теми, кто знает, как правильно умирать, – сказала она и показала язык.

Я совсем забыл про таблетки – несколько раз вспоминал, но неохотно: мне нравились мои собранность и сосредоточенность, и они были мне нужны: комбинация у меня была беспроегрышная, но только если ее безошибочно разыграть. К тому же всё время было не до них – вечером я засыпал на одной кровати (хотя, увы, не в одной постели) с Надей, а утром рядом с ней просыпался: так получалось.

Ключи снова остались у нее – я ушел ни свет ни заря, чтобы успеть поймать Юру, а встретил ее уже только вечером в «Сушке». Я заблудился, возвращаясь от Юры, в прямых, как трубы, улицах Коломны – специально решил вернуться пешком: сначала было забавно, я из принципа не спрашивал дорогу, улицы и реки закручивались, слипались (наверное, я еще не до конца протрезвел), Пряжка перетекала в Мойку, Мойка притворялась Крюковым, Крюков убежал в сторону. Прошло, похоже, несколько часов, я злился, бормотал ругательства и почти плакал, когда дом, вдоль которого я шел, вдруг загнулся в сторону и (я поймал себя на том, что подозреваю Новую Голландию) из-за канала выросло укывище из темных и пыльных кустов, – когда я дотащился до квартиры, Нади уже не было, и я рухнул спать, положив рядом телефон. На подушке лежали ее волосы, как и позавчера.

Я спал, весь мокрый, метался по кровати с края на край и только ночью в «Сушке» – мисс-пирсинг всю дорогу подстебывала меня и в числе прочего сказала, что, мол, врет он всё, что частный детектив, частные детективы не бухают всё время по клубам, Надя возразила, что как раз наоборот, они только этим и занимаются, и пропела *You must remember this*, но мне всё равно пришлось отвечать на вопрос, что я расследую (*пропажу пакета уставных документов крупной компании*, – отрапортовал я к очередной порции ее смешков), – я вспомнил, что днем меня выдернул из сна звонок Степаныча, и Степаныч говорил, чтобы я был ко всему готов, и особенно упирал на своих ребят, которые сидят-ждут, как пожарная команда, по первому звонку выезжают.

– А без ребят никак?

– Это в твоих берлинах-лондонах можно без ребят, а тут – ин ди grosен фамилиен нихт клювом клац-клац! (Я сразу вспомнил, как меня еще в детстве тошнило от шуток всех этих полковников, с которыми у отца были дела.)

Мисс-пирсинг продолжала приставать ко мне, и я не понимал почему, пока – кажется, не в этот вечер – почти наугад не спросил ее, не по женской ли она части, и, как выяснилось, попал в яблочко. Все эти дни – тем более что спал я дважды: глубокой ночью и в разгар дня – срослись и переплелись друг с другом, как сплетаются в шмат влажного зеленого мяса огуречные стебли; после звонка Степаныча (вернее, после того, как я вспомнил о нем в клубе)

я с отчетливостью рекламного снимка с залитого солнцем курорта увидел, что главное мне теперь не сорваться.

Дополнительная сложность была в том, что я стал взбудораженный, не мог усидеть на месте, бегал по улицам – то проверял, не следят ли за мной (запутывал следы: забирался в проходные дворы, пересаживался с троллейбуса на троллейбус, наворачивал круги), то, наоборот, принимался за слежку сам – время от времени мне начинало казаться, что я вижу злосчастную старуху. Я мучился двойственным ощущением безошибочности происходящего и в то же время подозрительностью по отношению к себе, и эта гнусная муть прорезывалась тут и там моментами бесплодных озарений: так, я понял, что, настаивая на моем отъезде, отец, конечно, хотел уберечь меня от необходимости думать о компании (он, очевидно, воспринимал ее как свой и только свой персональный ад), хотя говорил про пи-эйч-ди, но даже он вряд ли формулировал для себя главное – что хочет выбросить меня из холодной ловушки петербургского марева, пусть даже ценой необходимости самому остаться в ней навсегда, ведь отец сам поставил себя так, что единственным способом уехать из Петербурга для него оказалась выпрыгнувшая со скоростью 350 м/с из ствола пуля.

Легче было ночью в «Сушке». С мисс-пирсинг мы обменивались подколками, я то и дело показывал на какую-нибудь девицу и подмигивал: *красивая, да?* – она отмахивалась от меня (а когда сильно убралась, разоткровенничалась: *красота – это движение души, а у них у всех вместо души целлюлит*, – она старалась не смотреть на Надю), а с Надей мы напивались, а потом гуляли и ехали ко мне.

С Надей я спал как убитый (мои ритуальные домогательства она неизменно и доброжелательно отклоняла), а днем во сне меня догоняла поганая старуха – в самом жутком из этих снов я ехал с ней на заднем сиденье автомобиля и боялся повернуться, чтобы не выдать себя, но не выдержал и стал за ней подглядывать: она безразлично смотрела мимо, не двигалась, и из ее ноздри показался шевелящийся кончик прозрачного коричневого дождевого червяка, он медленно тыкался в губу, то туда, то сюда, собирая и распуская кольца своих сегментов, – именно из этого сна меня выдернул звонок Юры, и я, еще корчась от ужаса, накорябал на клочке бумаги название банка, на который была зарегистрирована труповозка “BMW”.

Этот сон догнал меня еще раз, когда, выйдя на улицу (утро, после дождя – всё время шел этот чертов дождь), я увидел усыпанную червяками мостовую и вспомнил, что однажды это уже было – давно, в детстве: моя левая рука задрана вверх, ее держит теплая мамина, а распахнутые глаза дивятся на червивое царство: некуда ступить.

Степаныч не звонил; время от времени я начинал сомневаться в себе, в своем плане, вообще в том, что всё это не бред сивой кобылы и что я примчался в Петербург по делу, что Степаныч вообще звонил, – пока этот кошмар наконец не закончился: прорезался Юра с документами – я перетерпел.

3

Последние два дня; оставалось сотворить из воды пресмыкающихся и далее по тексту вплоть до человека. Утром я позвонил Степанычу и сказал, что больше не могу (чистая правда: я больше не мог).

– Всё равно ничего не получается, Степаныч. Я скажу, чтобы готовили пресс-релиз и обращение в прокуратуру.

– Секунду, Антон, подожди. – Степаныч отошел в тихое место, чтобы со мной поговорить. – Слышно? Антон, дорогой, я не могу тебе ничего запретить. – Он говорил негромко и убедительно; на заднем плане что-то обсуждали громкие и довольные мужские голоса. – Но не советую, дорогой, не советую. Во-первых, потому что я тебе говорил, через полчаса после твоего пресс-релиза на рынке начнут сбрасывать бумаги. Компания на этом миллионы

потеряет. Ты потеряешь. А во-вторых, потому что немножко осталось, еще чуть-чуть – и мы возьмем их за горло. Подожди малость. Тут главное – выдержка, и главное – не бояться, не бойся.

Я немного посопротивлялся, но дал себя уговорить один день подождать.

– Успокойся, дорогой, и не нервничай: если Магомет не идет к горе, то гора идет нах... – Он хохотнул: видимо, хотел меня успокоить.

Как ни странно, я действительно успокоился после этого разговора – настолько, что, покупая билеты, заигрывал с раскрасневшейся девочкой-оператором, хотя больше всего мне хотелось оглянуться и посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь за спиной. На всякий случай я все-таки не стал ничего говорить вслух, написал на листочке и отдал мягкой курносой девчужке.

Потом я вернулся домой и спал, сжав в ладони мобильник, а вечером отправился в «Сушку». Звонок застал меня на пустынной (всегда пустынной – в чем, думается, есть высшая справедливость) площади Труда: незнакомый будничным голос спросил, тот ли я, кто им нужен, и, по имени-отчеству, всё остальное бла-бла-бла. После этого я сразу набрал Степаныча.

– Вот видишь, я же говорил! Что сказали?

– Сказали, что, возможно, меня заинтересует их предложение.

– Где назначили? Это юго-запад? Значит, слушай. Им главное – посадить тебя в машину и повезти куда-нибудь на дачку. В машину садиться нельзя ни под каким предлогом. Там будут мои ребята. – Всё время, пока я шел до «Сушки», Степаныч рассказывал свой план. По его словам выходило, что это будет целая военная операция, только что без вертолетов.

– Что-то слишком сложно, Степаныч, а ничего не сорвется?

– Терпи, казак, – я вдруг стал казаком, – а то мамой будешь!

Толкая стеклянную дверь, я испытал короткий приступ ностальгической, из будущего просочившейся тоски: что в «Сушке» я, может быть, последний раз. Да, если мне чего-то и жаль во всей этой истории, так это того, что не получилось толком попрощаться с мисс-пирсинг. Я подумал об этом, когда засыпал (в эту последнюю ночь я целовал Надю-Изольду особенно нежно, и она отвечала мне, но ладонь, отправившаяся в вояж по ее животу, была почти сразу же депортирована на родину; вместо этого она обняла меня и заснула), – подумал о том, что жаль будет больше не повидать трогательную полужелезную мордашку с тщательно наведенным скрытым выражением гендерного превосходства и не намекнуть ей, что в некотором смысле мы заодно: я тоже терпеть не могу мужиков и целлюлит.

И еще надо было попросить сирену спеть эту ее песенку. Я весь последний день ее насвистывал – прилипла; а последний день получился длинный. Хотя проснулся я поздно: Надя уже испарилась; только лежала у зеркала забытая косметичка. Я привел квартиру в порядок, сходил за хлебом, позавтракал, – был уже почти вечер, когда я взял лэптоп и открыл сайт банка, название которого было записано на скотканном, даже продырявленном остром карандашом листочке. Андрей Петрович числился в разделе «Руководство» третьим. Я последний раз, загибая пальцы, проверил себя и свой план: всё было верно.

Секретарше я сказал, что я из УСБ ФСБ. А Андрею Петровичу – что есть разговор к нему относительно находящегося у него пакета учредительных документов одной крупной компании. И что, возможно, у кого-то есть более интересные и, главное, более реальные предложения к нему, чем те, которые ему уже сделаны.

– Через час? У меня встреча через час, давайте завтра.

– Перенесите встречу, Андрей Петрович, а то попадете в глупое положение. Как финансовый аналитик.

Пришлось Андрею Петровичу согласиться. Хотя приехал он не на труповозке: у него был «бентли». Он вышел – с водительского, разумеется, сиденья – и, разумеется, никого не

увидел: есть люди, которые просто не видят ярко-синих курток с капюшонами, даже если карман у куртки оттопырен так, будто в нем лежит «глок»-девятнадцать. Он запахнул пальто, подошел к парапету, схватился за него двумя руками и запрокинул востроносую голову к арке – некоторых подонков трогает еще по старой памяти красота, хотя, глядя на нее, они и думают по привычке об инвестициях. В этот момент и отделилась от китовой морды машины ее тень: она смотрела прямо на меня, ободряюще улыбалась, и я, холодея от омерзения, что у меня может быть что-то общее с этим мертвым чудовищем, понял вдруг, что так, наверное, выглядела бы моя мать, успеет она постареть прежде смерти, но страшнее всего было, что старуха не уходила, до сих пор она не уходила только во сне, она, кося глазом на меня, медленно поднимала руку, причем сначала казалось, что просто ладонь у нее сложена пистолетиком, но вдруг я понял, что у нее, да, пистолет, и я вдруг страшно захотел, чтобы она выстрелила, и даже мысленно шептал ей *жми, жми* – и Андрей Петрович аккуратно лег на склизкий деревянный помет.

Я спрятал «глок» обратно в карман и оглянулся: полутемная набережная (фонари еще не включали) была пуста; старуха снова слилась с тенями. До сих пор я действовал только по точному расчету, но тут был прилив вдохновения: я взял с пассажирского сиденья чемодан – тугой и тяжелый, он выглядел развратно, как всё дорогое кожаное, – нашел ключ от него (ибо он был заперт на ключ) в кармане юридического пиджака, распахнул и, перевалив через парапет, вытряхнул содержимое в Мойку (более не нужный второй телефон плюхнулся туда же). И все-таки чемодан, даже опростанный, был очень тяжелый, будто кожа хранила память о своем крокодиле, – я еле дотащил его до квартиры, и только там, в тишине, позвонил Степаньчу (на телефоне светилось восемь пропущенных вызовов).

Степаньч был на нервяке, но я его обрадовал.

– Антон? Я уж места себе не нахожу, думаю, не уберегли парня.

– Всё в порядке, Степаньч, парень сам себя уберег.

– Что случилось? – Я промолчал. – Ладно, не телефонный разговор.

– Степаньч, чемодан у меня.

– Что? Чемодан? – Кажется, мне удалось его удивить. – Как?

– Не телефонный разговор. Повезло.

Степаньч несколько секунд молчал, потом попросил подождать – слышно было, как он по другому телефону говорит про ближайший рейс.

– Значит так, Антон, я вылетаю, скоро буду, поговорим. И, – после паузы, – знаешь что? Мы с твоим отцом были партнеры...

– Я знаю, Степаньч.

– Короче, ты меня удивил.

Сидеть в квартире я не мог. Идти в «Сушку» тоже – не только потому что нельзя было пить; главное, что нужно было бы либо возвращаться с Надей (и тем вносить фактор непредсказуемости, который мне был меньше всего нужен), либо намекать ей, что сегодня нельзя, – она бы точно подумала, что я снял девку. Я всё подготовил – чемодан в углу, куртка на кровати – и вышел. Лило опять как из ведра, и на набережной я спрятался в троллейбус – свистящий батискаф был почти пуст, я сел у окна и замороженно наблюдал, как справа над пропастью Невы парит призрак крепости, а потом ныряет и всплывает сверкающая гирлянда дворцов, и уже за рекой – из широкой бухты площади троллейбус затащило в узкую горловину Невского. У меня было еще почти три часа: я сел в аквариумоподобном кафе и раскрыл лэптоп.

Когда в кафе вошел Степаньч – бодрый и настороженный, я видел его последний раз десять лет назад, но он был такой же: седой бобр на голове, мясистое лицо, плечи, как гантеля, глаза без ресниц, пучки бровей, улыбка такая, как будто сейчас все поедут к блядам, и отвратительно бесцеремонное рукопожатие, – у меня в форме письма было собрано четыре

десятка адресов. Я нажал «отправить» и вышел со Степанычем на улицу. Дождя уже не было: я бы с удовольствием прогулялся, но Степаныч пешком не ходил – у дверей мигал аварийкой большой, наглухо тонированный «лексус».

– Ну говори, куда. А чего не у отца? – Степаныч смотрел на меня, будто на победителя детского конкурса песни, и, похоже, думал, не потрепать ли меня по затылку.

– Не могу я там, – сказал я, отворачиваясь. – Снял квартиру. На Первой линии.

– Слыхали, Михаил Викторович? – Михаил Викторович был похож на дрессированного медведя: из-под волос на ладонях синели татуировки. – Начальник сказал, на Первую линию.

– Так точно, товарищ полковник.

– Да, – это уже мне, – я тебя понимаю: одному, после такого... Знаешь, когда это случилось, я поверить не мог. У бати твоего бывало – депрессия, туда-сюда, но чтоб до такого... И главное, ведь на нем одном всё держалось – я теперь думаю, что, может, он из-за этого... Слишком много взял на себя, понимаешь? Все-таки не в деньгах счастье, согласен?

Я сказал, что согласен. В тонированных стеклах ничего не отражалось. Меня стала накрывать волна отвращения и ужаса: слава богу, ехать было недалеко – мы едва ли не последние перескочили через мост и уже через минуту заворачивали на Съездовскую. Я показал, где встать.

Всё время, пока мы шли через двор и поднимались по лестнице, я отводил взгляд от теней и углов, чтобы не увидеть старуху. Степаныч хохмил всё натужнее.

– Ты прямо как Ленин в Разливе, – я уже открывал дверь, – еще бы коммуналку нашел. – Его голос наполнил освещенную квартиру.

Времени думать о том, выключал ли я свет, не было – я шагнул в комнату, показал пальцем на чемодан в углу и пошел к синему пятну куртки на кровати. Я действовал на автомате, по плану, который прокрутил в голове тысячу раз, но перед глазами всё плыло и в руках появилась слабость: косметички у зеркала не было, и куртка лежала не так, как я ее оставил.

– Ты открывал уже?

– А? Сейчас дам ключ.

Ключ в кармане был, а «глока» не было. Я кинул Степанычу ключ, сел на кровать и, пока он возился с замком, слушал, как тяжело, как будто об дно груди, ударяется сердце. Во рту было сухо, звуки доносились как будто из-под воды, ослепительный свет пронизывал всё вокруг, Степаныч, казалось, занимал своей тушей полкомнаты, он, сопя и матерясь, открывал чемодан: из чемодана смотрела на нас мертвая, запачканная кровью голова с острым носом, меня мутило, Степаныч доставал из-под пиджака пистолет и поднимал его на меня, морда у него была красная, как кусок непрожаренного мяса, глаза сузились и стали хищные, он спрашивал меня, что, бл..., за игры я решил с ним играть. Я заставил себя разлепить губы.

– Знаешь, Степаныч, когда я понял, что это ты? То есть заподозрил-то сразу, когда ты вызвался помочь, но понял окончательно, когда сам запустил тут удочку, а через два дня ты звонишь – не говорил ли я кому-нибудь. Ты не выдержал. Ну и думал, конечно, что я просто дурачок. – Я понял, что он слушает, а раз так, надо продолжать говорить. – Очень просто у тебя всё получалось, припугнуть, показать разборки а-ля девяностые, злой Андрей Петрович едва не отберет компанию, а потом придет добрый дядя Степаныч и намекнет, что неплохо бы продать всё ему задешево, потому что всё равно ведь чтобы тут бизнес держать, надо быть Степанычем, и дядя Степаныч совершенно легально получает дело своего старого товарища за смешную цену, я же не знаю цен, к тому же это и справедливо. Самое смешное, что ты прав во всём. Только мне противно стало. Сколько бы ты мне предложил, Степаныч? Мне на «лексус» хватило бы? У вас тут все лохи на «лексусах» ездят.

– Маленький эмдэпэшный ублюдок.

– Мне не нужна вся эта ерунда, Степаныч, она и отцу была не нужна, только он не понимал этого. Но тебе мне противно отдавать, тебе и таким, как ты.

– Документы где, сука? – Степаныч орал.

– Ты думал, что ты на меня охотишься, а это я тебя в угол загнал, Степаныч. А бумаги в Мойке. Нет больше документов.

Степаныч орал, чтобы я его не наёбывал, что я уже труп, чтобы я говорил, где документы, что он меня сейчас выебет.

– Проснись, Степаныч, – успел я сказать ему, прежде чем прикрыл глаза, подбадривая стоявшую в дверном проеме Надю, и она, бледная, как кафель ванной, нажала на курок, и грохнул выстрел, – проснись, ты сейчас умрешь.

Я выкатился из-под падающего на меня Степаныча, хохоча.

4

Я собирался предложить Наде отправиться со мной, не зная, согласится она или нет, но теперь у нее не было выбора: я отпоил ее коньяком и протянул паспорт. Она открыла его и посмотрела на свою фотографию.

– Изольда?

– Не нравится?

– Не то чтобы... А нас будут искать?

– Будут. Но не найдут.

– Я просто так его взяла, мне интересно было. А это очень дорого?

– Паспорт – это просто бумажка. Не паспорт дорог, а доверие людей.

Мы сидели в кухне на подоконнике, город потихоньку выплывал из тьмы, и стало видно, что за ночь по липам Румянцевского пробежала желтая дрожь. По набережной струились первые машины: было пора. Надя рассматривала билеты.

– Я никогда не была в Швеции. А куда потом?

– В Лиссабон, – отшутился я.

– Почему?

– You must remember this... – пропел я, она подхватила и вполголоса пела, пока я собирал вещи в рюкзак.

На улице было морозно и ясно. Где-то высоко-высоко в синем океане неба белели архипелаги облаков, а прямо над головой, едва не облизывая животами крыши домов, неслись на восток стаи крупных сероватых рыб. Через садик Академии (где-то сзади должен был похрапывать «лексус») мы вышли на набережную и спустились к воде у памятника Крузенштерну – я бросил в воду пакет с пистолетом и телефоном. Когда мы поднимались, у меня перехватило дыхание – по набережной шла сгорбленная старуха с треугольником платка на голове, – но она обернулась, чтобы посмотреть на нас, и я увидел круглое доброе лицо с большими пластмассовыми очками. Это была просто старушка, она любовалась нами. Мы, взявшись за руки, перебежали через дорогу и поймали машину до морского вокзала. В машине было включено радио, и в новостях рассказывали *о крупнейшей компании в отрасли, чей владелец три недели назад*, – бомбила переключил на другую станцию.

Пока мы – регистрация, паспортный контроль, досмотр – добрались до каюты, усталость обернулась легкой пустотой в голове, я наконец выпил, мы разделись и забрались в постель. Я целовал и обнимал ее; она сопротивлялась до последнего и обмякла только тогда, когда деваться было уже некуда. Но когда всё закончилось, она обняла меня – так, как обнимают любимое и трогательное существо.

Спасибо группе “Pretty Balanced” за замечательную песню.

Carmen Flandriae

А. Г.

Даже отсюда я слышу часы на ратуше, эти страшные часы. Говорят, часовщик-итальянец повесился на них, когда узнал, что ему не заплатят за работу. Веревка была сырая и плохо затянулась, он долго дергался, извивался, пока не обессилел, и кованая стрелка стала после этого кривая, как змея, и вместо мелодичного перезвона каждый час с башни несется страшный клекот, как будто это не часы бьют, а кричат с крыши каменные горгульи. Как же ему нужны были деньги!

Я видел эти часы прямо из окна лавки, каждый день. И тогда тоже, когда она пришла в первый раз. В ее черных как смола волосах, показалось мне, мелькало что-то зеленое, но я тогда не придавал этому значения. Как она зашла в лавку, я не видел: хозяин отправил меня принести отрез самита, показать покупателю, жирному, как он сам, Самсону-ростовщику. Я принес, развернул – и тут увидел ее. Хозяин был так увлечен евреем, прямо облизывал его, что, конечно, ее не заметил. Она стояла у самого входа, против света, и смотрела на сложенный там красный атлас. Издалека она взглянула на меня и тут же отвела взгляд. Сперва я подумал, что это воровка, из цыган, но сразу понял, что нет, ничего цыганского в ней не было – стоило подойти поближе, это становилось ясно. Просто девушка из бедной семьи, пришла полюбоваться, такие иногда заходят. Я шепнул ей, чтоб приходила после шестого боя часов, когда хозяин уйдет в кабак. Она как будто не слышала. Тогда я добавил, что подарю ей ленту. Она повернула ко мне голову, и я впервые увидел ее глаза.

Клянусь, я и не думал в тот момент ни о чем таком. Я у хозяина пятый год, его-то собственный сын давно уж по слабости ума в монастыре, а меня мать отдала совсем мальчишкой, когда отец погиб в Тунисе вместе с сиром королем Людовиком, по крайней мере, так она мне сказала, – я к тому, что за пять-то лет я научился так подгибать и отрезать, чтобы немножко оставалось. Девчонки разные бывают, многие за ленту в волосы на всё готовы. Последние полгода ко мне чуть не каждую неделю ходила Грета, девица из пекарни, бело-брысяя, вся в веснушках. Хозяин однажды застал меня с ней, я ему соврал, что дал ей пятнадцать су, которые он подарил мне на Рождество, так что он не ругал меня. Сказал только, что противная. Но она не противная. С третьего раза мне даже стало казаться, что она красивая такая, с веснушками. Я всегда, каждую неделю отрезал ей на полпальца то муслина, то сендала, то еще чего.

Но в этот раз даже в мыслях ничего подобного у меня не было. Мне просто хотелось, чтобы она еще пришла – разглядеть ее получше. Она была страшно худая, и волосы у нее были черные. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что она младше меня. Но когда она на меня смотрела, мне казалось, что она намного старше. Она и первый раз посмотрела на меня так, будто не поняла, что я сказал, – протяжно, как будто прямо в сердце, у меня мурашки по спине побежали, и в этот момент как раз закаркали часы на ратуше. А хозяин уже обдурил еврея, я это слышал, ясно было, что вот-вот он позовет меня.

– Уходи сейчас, а то хозяин прогонит, – прошептал я ей еще раз. – Потом приходи, когда его не будет.

Тогда она ушла.

Весь день я про нее думал, всё было как в молоке. Затянул самит, отрезая, и хозяин больно ударил меня по спине, но я не расстроился особо – только считал часы. В конце концов он ушел, как всегда, в пивную, со своей обычной присказкой, что, мол, кровь Его нам пить не по карману, а мочу Его – в самый раз, я, как надо, расхохотался, чтоб его не обижать, и когда дверь за ним скрипнула, мое сердце тут же заколотилось в горле. Но она не пришла.

Часы пробили еще три раза, но она так и не пришла. Я, как обычно делал, сложил товар и закрыл лавку. Немного постоял у входа, а потом пошел на кухню, все-таки мне хотелось есть. В тот раз я не придавал ее появлению никакого особенного значения. Лавка моего хозяина – одна из лучших в городе, место людное, народу каждый день бывает много разного – крикливые, пышно одетые итальянцы, толстые остерлинги, угрюмые славяне, турки с масляными улыбками, это не считая всякого сброда, за которым глаз да глаз, и честных бедняков, которые годами копят на приданое дочкам и покупают, стесняясь, самое дешевое грубошерстное сукно. Ее я ни разу до того не видел, но мало ли кого я не видел. Думаю, если бы она больше не пришла, ничего страшного не случилось бы. Правда, в тот день я отправился бродить по городу, вместо того чтобы как обычно пойти играть в мяч с ребятами с площади или свернуться под лестницей и заснуть. Мне было не по себе, как бывает, когда пытаешься вспомнить какую-нибудь песню, которую давным-давно слышал и забыл. Повторяешь раз за разом две строчки, а дальше – не получается. Было темно, но я дошел до Собора, обошел его кругом и только тогда вернулся обратно. Сейчас может показаться удивительным, что меня потянуло именно к Собору, но честно говоря – а где у нас еще гулять? По реке вечером не походишь – опасно.

Она не приходила четыре дня. А на пятый день вечером пришла. Стоило хозяину уйти, она скользнула внутрь, как будто там, снаружи, только и дожидалась его. Это было так неожиданно, что я не знал, что мне делать. Она встала посреди лавки и смотрела как будто куда-то в сторону. Я подошел к ней, думая, что удастся рассмотреть ее, но она прятала лицо. Одея она была в старенькое, штопаное льняное платье. Тогда я стал делать то, что было мне привычнее всего.

– Смотри, – сказал я ей, – это флорентийское сукно. Говорят, чтобы получить этот красно-синий цвет, лишайник, растущий в корнях сосен, вымачивают в моче девственниц, а собирают его только в ясную лунную ночь – старухи, потому что иначе цвет получится грязным. А это византийский муслин, посмотри какой тонкий. Его выдeldывают в императорских мастерских, а работу принимает сама императрица, и если десять локтей получившейся ткани не удастся протянуть через игольное ушко, то нерадивую работницу бросают на съедение львам. А вот экарлат из Бургундии. Краситель для него добывают из жуков, живущих на горе Арарат, но годятся только оплодотворенные самки. Самцы кошениля появляются на свет без рта, потому что им предстоит прожить один-единственный день, чтобы впрыснуть в самку свою кровь вместо семени, и кровь эта так густа, что пропитывает всё тело самки, так что когда их щетками соскребают с листьев, пурпуром окрашивается вся земля под деревьями, а тот, кто хоть раз собирал кошениль, никогда не сможет отмыть рук.

Кажется, она слушала меня, но точно не знаю. Я даже подумал, уж не немая ли она, или, всякое бывает, может, просто дурочка. Но немой она точно не была. Потому что когда я развернул перед ней экарлат, она погладила его рукой и спросила:

– Это очень дорого, да?

Я усмехнулся. Еще бы не дорого.

– Я могу подарить тебе ленту из него, – сказал я.

– Нет. – Она покачала головой. – Мне не нужна лента.

Опять что-то промелькнуло в ее волосах, как будто одна из прядей у нее была зеленая, но это мне, конечно, показалось.

– Почему? Ты вплетишь ее в волосы, и на танцах в воскресенье на тебя будут смотреть все юноши, ты сможешь выбирать между ними. Может быть, одному из них ты так понравилась, что он захочет взять тебя в жёны. Не какой-нибудь там крестьянин, а красавец из хорошей семьи. – Я еще продолжал расписывать ей этого парня, как будто бы это был я сам, но она смотрела в сторону, а потом подняла глаза на меня, и мне пришлось замолчать.

Это был странный взгляд, можно было подумать, что она слушала совсем не то, что я говорил, а что-то другое. В этот момент звякнул колокольчик: кто-то вошел в лавку. Она быстро вышла, и я так и не успел рассмотреть ее хорошенько. Вместо этого я стал разворачивать отрезки перед сварливой старухой, изо всех сил стараясь, чтобы она купила что-нибудь. За хорошую работу хозяин иногда давал мне пару су, а я почему-то решил тогда, что мне как раз пригодилось бы несколько монет.

В этот второй раз, когда я предлагал ей ленту, я подумал, конечно, что если она согласится, то это может значить, что она такая же, как Грета, но потом, когда ушла она, а потом ушла, так ничего и не купив, сварливая старуха (на щеке у нее еще была бородавка, из которой росло два волоса), и я стал думать об этом, я решил совершенно точно, что как раз этого мне и не хотелось бы. Такие девушки, как Грета, – я ничего плохого не хочу сказать, но когда о них думаешь, представляешь себе ее грудь в своей ладони, ее задницу, живот, жаркие бедра, влажную внутренность, а тут – мне просто хотелось близко и внимательно рассмотреть ее лицо. Точно, в тот момент – не более того.

Мне было так хорошо в тот вечер, легко, как в детстве после причастия. . . Наверное, это было видно по мне; думаю, что я улыбался. И я совершенно забыл, что нашей хозяйке в таком виде лучше не показываться – она хорошенько поколотила меня, сказав, что я ее разорю. Она всегда говорит, что я слишком много ем. Только когда вернулся из пивной хозяин, и она перекинулась на него, я сбежал к себе под лестницу.

Через несколько дней в лавку прислали от бальи – нужно было отнести образцы, и хозяин отправил меня. Вообще-то по важным делам обычно он ходил сам, но в этот день он ждал купца с острова. Было очень жарко, я весь взмок, потом долго ждал на заднем дворе, пока выйдет слуга и заберет у меня мешок, так что я и устал, и соскучился. Когда я шел обратно – такое редко бывает, чтобы днем и не в лавке, – я должен был бы нестись со всех ног, но было очень уж хорошо идти налегке, щуриться на солнце, в общем, я решил сделать крюк и опять оказался у Собора.

И, проходя в тени южной башни, я увидел ее. Она сидела на ступенях паперти, обхватив колени, смотрела прямо перед собой, лицо ее ничего не выражало. Я сначала испугался, а потом сел рядом с ней. Не знаю, сразу она меня заметила или нет, во всяком случае, она не сказала ничего, я тоже не знал, что сказать, просто сидел вместе с ней и смотрел на людей, которые ходили туда-сюда. Потом я спросил ее, почему она тут сидит. Она не повернула ко мне головы и долго молчала, я уже подумал, что она и не ответит, но она все-таки ответила. Разлепила губы, как будто не была уверена, что сказать, а потом тихо, но внятно выговорила:

– Потому что это мой дом.

– Ты что, живешь на улице, у тебя нет дома?

Наверное, мой вопрос прозвучал глупо, я и сам чувствовал, что говорю что-то не то, я ведь видел, что она пусть и не наряжена графской дочерью, но побирушкой всё же не смотрится. Она повернула ко мне лицо, посмотрела удивленно.

– Нет, я же объясняю, у меня есть дом. – И она ладонью погладила ступеньку, на которой сидела.

Я почувствовал, что сейчас запутаюсь, и тут вспомнил, что мне нужно в лавку.

– Приходи еще ко мне, – сказал я ей, поднимаясь. – В лавку. Придешь?

Она помолчала немного и кивнула. Уходя, я подумал, что опять не успел разглядеть ее лицо. И еще я ругал себя за то, что так и не спросил, как ее зовут.

Возвращался я почти бегом и едва успел в лавку до шестого боя. Я решил тогда, что она живет в Соборе, – мало ли, может, попы подобрали девчущку, кормят ее, она прибирается, а может быть, ее готовят в монастырь, такое тоже бывает. Единственное, что было неприятно, – это что они там могли с ней еще делать, эти жирнобрюхие. Мне уже тогда вдруг показалось, что касаться ее – ее волос, ее лица, ее тела – нельзя.

Хозяин, конечно, стал ругать меня за то, что я так долго шлялся, но думаю, он что-то заподозрил, потому что он вдруг снова стал кричать, чтоб я не вздумал путаться с девками, что через пять лет он сам женит меня на ком надо – это было что-то вроде условия, во всяком случае, так он обещал моей матери, что если я десять лет прослужу у него и он будет мной доволен, то он женит меня, даст денег на свадьбу и на хозяйство. Я стоял, опустив голову, и только говорил «да, хозяин», «нет, хозяин», а сам ждал, когда наконец закаркают на ратуше часы, он уйдет, а я смогу спокойно подумать о ней.

В первый раз она пришла сразу после Пасхи, а теперь было уже лето, и потом она приходила еще несколько раз, и я уже не переставал думать о ней. В редкие и недолгие моменты наших встреч я старался как можно лучше запомнить ее лицо, чтобы потом, сидя на тюках с шелком, из мелочей – маленького прямого носа, впалых щек, узкого подбородка, – восстанавливать его перед своим внутренним взором. А когда я научился делать это, я стал в воображении своим касаться ее лица кончиками пальцев. Я проводил пальцами по лбу, касался дрожащих век – и потом, когда я отнимал пальцы, ее ресницы вспархивали, и я изо всех сил старался представить себе, как бы она посмотрела на меня.

В лавке я стал расторопен как никогда, и у хозяина не было причин ругать меня. Наоборот, он стал чаще подкидывать мне монетки, а однажды даже, вернувшись из пивной, вдруг спросил, почему он давно не видел прыщавой девки из пекарни – он имел в виду Грету, я это понял, хотя она была совсем не прыщавая. Я только потом понял, к чему он клонил, а в тот момент не нашел что сказать, кроме правды, – что она мне больше не нужна. Зато хозяйка стала злее черта, уж не знаю, что на нее нашло. Чуть не каждый вечер она стала меня колотить, так что я старался не попадаться ей на глаза – приду на кухню, схвачу свою миску – и бегом под лестницу.

Однажды в воскресенье после обедни я отпросился у хозяина и побежал к Собору. Я надеялся встретить ее там, на ступенях. У меня было несколько денье, и я думал, что смогу угостить ее чем-нибудь на ярмарке, если она согласится. Я сел на ступени ждать ее, но она так и не появилась. Вместо нее рядом со мной скоро плюхнулся парень чуть постарше меня. Первым делом спросил меня, нравится ли мне Собор. Я сказал, что нравится.

– А я его скоро возненавижу, – сказал он и втихаря плюнул на стену. – Три года уже тут батрачу, вот он у меня где! – Он приставил ладонь к горлу, и я подумал, что так он скорее мог бы показать, сколько пива успел уже выпить сегодня.

Пока он говорил, я смотрел на него сбоку. Нос у парня был выгнут, как спина у взбешенной кошки. А может быть, это память моя – так, как она делает цвета ярче, чем те были, звуки громче и взгляды нежнее, – так же она выгибает линии, которые были хоть немного кривы, и на самом деле нос у него был выгнут только как слегка натянутый английский лук, не более того, – не знаю, не знаю. Глаза у него были большие, уголками как будто стекающие вниз, к скулам. И еще у него были длинные пальцы – при первом взгляде могло показаться, что на каждом из них не три фаланги, а четыре.

Конечно, первые слова его были только бахвальством – уже через несколько минут он рассказывал, как здорово быть учеником каменщика. Из его слов я понял, что еще несколько лет у него уйдет на ученичество, потом он сам станет цементщиком, а работы тут хватит на весь его век. Главной его мечтой было стать архитектором и самому поставить северную башню.

– Только бы попы не жадничали, дьявол их ети.

Я передернулся от ругательства, но промолчал. Потом он положил ладонь мне на плечо, сказал, что я хороший парень, и предложил мне выпить. Я согласился. Мы перешли через площадь, взяли по кружке и сели на нагретый солнцем камень. Собор теперь был прямо перед нами, и из-за фасада поднимались леса вокруг строящегося трансепта.

Не знаю, с чего вдруг он заговорил об этом, но, втянув в себя одним глотком полкружки, он сказал, что иногда думает, как здорово было бы Собор поджечь.

– Спалить всю эту красоту к чертям. Только сначала достроить. Достроить, поставить последнюю башенку на последнем контрфорсе и... – Он щелкнул пальцами, впрочем, он был уже такой пьяный, что щелчка не получилось. – Понимаешь? Нет, ты не понимаешь, дьявол тебя ети. Если всё достроить, то что останется, а? Нужно, чтоб всегда было, что строить. Достроили, спалили – и заново. Еще лучше! Еще красивее! Еще больше!

Я начал было говорить, что можно строить и на другом месте, но он оборвал меня:

– Дурак! Зачем на другом? Здесь и надо. Здесь всегда так. Одно спалили, другое построили. Построили, постояло немного – и... – Он снова попытался щелкнуть своими длинными пальцами, но запутался в них.

Я сколько себя помню, Собор всегда был такой, как сейчас. Хозяин как-то говорил, что помнит его еще без башни. А мать моя говорила, что ей рассказывал дед, будто он был мальчиком, когда закладывали Собор. Я всегда думал, что дед просто хвастался. Тут-то я и спросил кривоносого парня.

– А что, здесь раньше что-то стояло?

– Конечно, дурак. Я сам слышал, как мэтр Тома рассказывал.

– А что?

Мне пришлось повторить свой вопрос громче, потому что парень уже клевал носом.

– Что-что. Сортир святого Петра. То же самое и стояло. Что здесь еще могло стоять? Здесь всегда храм был.

После этого он совсем заснул, я снял потяжелевшую руку со своего плеча, привалил его к стене и ушел.

Я расстроился, конечно, что не нашел ее, но еще больше расстроился, что потратил на пиво те деньги, на которые собирался угостить ее чем-нибудь. На следующий день я так старался, прямо из кожи лез – всучил одному покупателю штуку парчи, которую он сначала вовсе не собирался брать, – в общем, хозяин перед уходом дал мне два су. Он ушел, проскрипели часы на ратуше, и не успели они затихнуть, как вошла она. В тот раз я наконец решился и пригласил ее погулять в следующее воскресенье. Она, показалось мне, очень удивилась, но согласилась.

Всю неделю я работал как сумасшедший – расхваливал ткани так, будто их не люди ткали, а сама Дева Мария. К воскресенью я разбогател почти на пол-ливра. Утром в воскресенье я развязал свой матрас, вытащил из него пять су и после службы отправился к Собору с полным карманом денег. Она сидела там же, на ступенях, чуть в стороне от выходящей из дверей толпы. Я повел ее в пекарню к старику-турку – это недалеко, но шли мы долго, потому что на улицах было много народу. У турка я купил две чашки холодной сладкой каши, названия которой я всё никак не могу запомнить, уж очень оно странное. Пока она ела, я рассказывал ей про турка, что сам слышал от ребят. Что будто бы в молодости он был страшным непобедимым воином, потом попал в плен, крестился и снова сражался, а потом камнем, сброшенным со стены, ему придавило пальцы на ноге, раздробило все кости в мелкое крошево. Поэтому он хромой. Но за боевые заслуги граф дал ему право завести лавку, и он стал кондитером. Кто-то слышал, как он говорил, что всегда, с детства мечтал только быть кондитером, и больше ничего. И что хоть он и принял святую веру, но всё равно не пьет ни капли вина.

Не знаю, слушала она меня или нет. Она ковыряла ложкой в чашке, смотрела на турка, рассматривала людей. Я уже понял, что говорить с ней, о чем обычно с девками говорят, не получится, но не корчить же из себя святого Августина; уж какой есть. И потом, надо было хоть что-то говорить, а то сладкая туркова каша в молчании исчезала чересчур быстро,

а покупать еще одну я не хотел. В общем, я вспомнил парня с площади и рассказал ей про храм, который стоял на месте Собора раньше. Тут она подняла на меня глаза и сказала:

– Я знаю эту историю.

Я так обрадовался, что удалось заставить ее разлепить рот, – поначалу даже не слушал, что она говорила, просто смотрел, как двигаются ее губы, и как иногда ее взгляд касается меня. Она рассказывала про какую-то деву – не могу вспомнить: то ли святую, то ли наоборот, – которая давным-давно тут жила, и ей поклонялись люди, а потом, когда пришел с крещением святой Дионисий, она отказалась креститься, и тогда в нее вселился дьявол.

– Она обернулась лисицей и хотела убежать в лес, а святой помолился, и тогда по Божьей воле лесные волки загнали ее. Она улетела от них, обернувшись голубицей, но святой призвал орлов, и они кинулись на нее, чтобы заклевать. Тогда она бросилась в воду и красноперкой скрылась в реке. Но по молитве Дионисия шуки выползли из холодных нор, поднялись со дна и стали кусать ее. Река вынесла ее тело на берег, и когда святой на шел ее, он отрезал ей левую грудь, вскрыл грудину и вынул сердце. В его раскаленных от молитвы ладонях сердце тут же ссохлось, сморщилось и стало размером с куриное, но твердое, как камень, и цвета густой крови. Тогда святой зашил сердце в мешочек и всегда носил его на груди.

Я слушал всё это, раскрыв рот. Но что я мог ей сказать в ответ?

– Сколько живу здесь, ни разу не слышал этой истории.

– Да я ее только что придумала, – сказала она совершенно спокойно и как будто немного разочарованно, а может, я теперь уже ошибаюсь.

Я совсем сбился с толку и больше уже ничего не в состоянии был сказать, но всё равно я не смог бы попроситься с ней сам, первым, так что очень кстати, что она, доев кашу, обливав ложку (да – облизывала, как самая простая деваха, так что было даже немного противно), сказала, что больше ей нельзя со мной. Мы вышли из пекарни, молча покружили по улицам, и вдруг она сказала «пока» и оставила меня – только мелькнули в глубине полупьяной толпы ее угольные волосы. Хотите верьте, хотите нет – в них точно было что-то зеленое.

* * *

Здесь очень холодно, и меня уже двое суток не кормили – может, забыли, а может, решили, что всё равно, – правильно, в общем, решили, – страшно кружится голова и время от времени меня всего очень сильно трясет, с каждым разом приступы всё продолжительнее, и всё труднее заставить себя успокоиться. Скоро начнет светать, я это чувствую по запаху холодного тумана, стекающего с камней мостовой, в этом запахе – примесь плесени. У меня ничего нет, но если бы что-то было, я бы всё отдал за кусок самого простого полотна – завернуться; может, не так сильно трясло бы. В конце концов понимаешь, что и бархат, и атлас, и саржа нужны для одного и того же – укрывать тело от холода; всё остальное от лукавого. Лучше всего было бы мне заснуть, но не получается – я уже пробовал: стоит чуть-чуть одним глазком заглянуть в сон, как я в ужасе шарахаюсь назад.

В тот день мне очень повезло, что я встретил Мартина – того носатого парня, ученика-каменщика. Мне обязательно нужно было напиться – не выпить, а именно напиться, – потому что тот хмель, которым я уже был пьян, был куда опаснее, я мог натворить глупостей, а перебить его можно было только несколькими кружками пива. Я шел по улице, чуть не бежал; мне хотелось кричать, бить-колотить столы лавочников, хватать людей за рукава, и вот в таком состоянии я шел, а мне навстречу – Мартин, который издали завидел меня, на ходу развернул и повел в кабак:

– Пойдем, пойдем. Только не ври, что не хочешь стаканчик.

Я и не собирался. Наоборот, мне хотелось броситься ему на шею, расцеловать его и – пить, пить, пить. Я, конечно, спустил в кабаке все деньги, которые у меня с собой были. Поначалу Мартин говорил, а я только молчал и улыбался, но после четвертой, а может быть, пятой кружки меня понесло, и я, кажется, разоткровенничался. Не помню, что именно я нес – видимо, что-то про неземной красоты девицу, – во всяком случае, Мартин стал спрашивать, кто она и откуда, а я ничего толком не мог сказать, кроме того, что она живет в Соборе. Будь я трезвым, я бы ничего такого не сказал, конечно, но ведь люди для того и пьют, чтобы язык болтался по ветру.

Мартин сначала не понял, потом я ему объяснил, что это она сама так говорила, сидя на ступенях паперти, и тут он расхохотался так, что я подумал, уж не придется ли мне сейчас с ним драться.

– Парниша, – сказал он, обхватив меня своей толстой тяжелой рукой, и, как будто хотел сказать мне что-то по секрету, жарко и влажно шепча мне в ухо, – ты влип. Это ж Регинка, дочь мэтра Тома. Он живет с ней в доме напротив, с южной стороны, вот она и сказала тебе, что живет на площади. Она, – Мартин еще понизил голос и постучал по столешнице, – куку, свихнутая.

Я совсем было собрался дать ему в морду, но тут он скорчил виноватую рожу и сказал примирительно:

– Ты, дружище, тоже!

Я расхохотался и передумал драться с ним; тем более что он все-таки работал с камнем и был явно сильнее меня. Наверное, мы очень громко смеялись, потому что старик, сидевший рядом – у него была одна правая рука с синими ногтями, но он очень ловко ей управлялся: ел кусок баранины и запивал пивом, только поворачивая кисть, – сказал нам, чтоб заткнулись. Тогда Мартин притянул мою голову к себе и стал шепотом рассказывать: мэтр был женат, но жена его умерла, рожая младенца, который умер еще в утробе. С тех пор мэтр не женился, но когда он приехал сюда строить Собор, он на ступенях южного портала нашел завернутую в тряпки девку – назвал ее Региной, как покойную жену, и стал воспитывать. За пятнадцать лет она сильно выросла, а живет он с ней как с дочерью или как с женой – Мартину неизвестно.

Пока Мартин – долго и путано – рассказывал, мы успели выпить еще по кружке, поэтому я не помню, как мы выходили из кабака (кажется, что-то было не очень хорошее, и помню почему-то близко-близко сухое лицо однорукого старика и синие ногти); следующее, что помню, – это что мы идем зигзагом, опираемся друг на друга, натыкаемся на стены домов, а я всё пытаюсь объяснить Мартину, что мне вовсе не хочется с этой Региной того, что обычно бывает с другими девками. Когда пьяный, всё время кажется, что что-то кому-то недообъяснил.

Пока я добрался до дома, немного протрезвел; во всяком случае, мне удалось тихо-тихо разбудить ключницу, которая всегда меня в таких случаях спасала, и незаметно шмыгнуть к себе на мешок под лестницу. Я засыпал под третий за ночь лязг ратушных часов, думал о Регине, о том, что сказал Мартин. Я понял, что представлять ее в объятиях квадратноголового старика (почему-то я так его воображал, хотя потом оказалось, что у него узкое лицо), так вот представлять ее с ним обидно, а может быть, и всё равно. К тому же это только если Мартин сболтнул не ради красного словца – в чем я не был уверен тогда, а теперь так и тем более не уверен.

Я спал не больше трех часов – меня разбудила мысль, что я чуть не забыл самое главное из того, что мне рассказал Мартин; я сел на свой мешок и схватился за голову: она страшно болела. Но сердце мое колотилось как бешеное – надо же, ведь почти уже забыл: мы с Мартином сидим где-то, привалившись к стене, над крышами ярко светится черный-пречерный Собор, Мартин держит ладонь на моей голове, а его голос – как будто откуда-то снизу:

– Его однажды спрашивают: а что, типа, собираешься ты свою прикормышину замуж-то отдавать? А он: да за ради бога, пусть берет, кто хочет, баба с возу – кобыле легче, только, типа, хочу, говорит, обратно получить всё то, что потратил на нее, пока она в моем доме жила, по справедливости, и – на все четыре стороны. В общем, что-то такое он долго считал, все еще хохотали, пьяные, насчитал почти двести ливров – только кто ж даст столько за девку, да еще и свихнутую, дьявол ее ети.

Во рту было липко, страшно хотелось пить; к счастью, хозяин, кажется, был такой же. Я ухватил с кухни несколько яблок и потащился за ним в лавку. Весь день я ворочал тюки, это, чтобы не завелась сырость, каждую неделю надо делать, соображал я туго-туго, и каждую минуту хотелось упасть на эти же перевернутые ткани, поспать, и ежечасное карканье как будто проклевывало голову насквозь, и я целый день считал и пересчитывал: получалось, что двести монет, с учетом того, что пять у меня уже есть, я могу заработать за пять лет. То есть как раз за тот срок, когда хозяин обещал моей матушке женить меня. А ведь хотя матушка и была ему двоюродной сестрой, он все-таки соврет недорого возьмет, и к тому же женить захочет на старой толстобрюхой дочке какого-нибудь своего клиента из тех, что попроще. Получалось, что через пять лет я отдам заработанные деньги мэтру и получу Регину, но без крова, без хозяйства, без единого денье. И я буду на пять лет старше (старее, суше, больней), и она.

Словом, оказалось, что мне ужас как нужны деньги.

Следующие несколько недель я ее не видел, но как-то успокоился и сосредоточился – до того, что хозяин что-то заподозрил. Однажды он не пошел вечером пить пиво, закрыл лавку вместе со мной, сел за конторку, посадил меня рядом и стал говорить, мол, видит, что со мной что-то происходит, всё лето, с самой Пасхи, и ближе него у меня всё равно никого нет, пусть я с ним посоветуюсь, он все-таки пожил уже на белом свете, и так далее, и так далее, сынок. Сначала я раздражался, а потом он отвернулся и глухо так заговорил, мол, думаешь мне иногда не хотелось послать всё это к дьяволу, – и мне пришло в голову: он про лавку, про жену, старуха-то и впрямь не приведи господь, – в этот момент я понял, что он не ради чего-то со мной проповедь затеял, а от чистого сердца. Он то теребил жирные складки у себя под подбородком, то крутил перстни на пальцах-огурцах, – мне так жалко его стало, что я бы заплакал, если бы он тоже заплакал. Он всё требовал, чтобы я ему что-то сказал, а я не знал, что говорить, мычал, и в конце концов он стал тыкать пальцем в конторку и кричать, чтобы я потерпел, мол, еще пять лет, и я сам стану суконщиком и тогда-то и пойму, что к чему. Не знаю, что он имел в виду.

На следующий день с утра я побежал с отрезами на пробу к жене и дочкам бальи (он ведь с собой целый выводок привез), а на обратном пути дал крюка и оказался у Собора. Я хотел посидеть подумать – хотя и так думал все дни, только что во сне не думал, и так ничего и не придумал: а что тут придумаешь? – сел в стороне на камень с северной стороны, в тени, и тут увидел его, мэтра. Я-то представлял его себе таким противным, как жаба, а оказалось, что он длиннющий, лицо узкое, глаза страшные, суровые. Руки – хваткие, сильные. Он был куда быстрее, мощнее всех своих рабочих, подгонял, кричал, показывал, – словом, я любовался им, как любят жонглером или акробатом, только мэтр был, конечно, куда как величественнее.

Что-то зеленое качнулось слева от меня, и когда я поворачивал голову, я уже знал, что увижу ее – она сидела и тоже смотрела на мэтра, хотя мне казалось, что я чувствовал на себе ее взгляд.

– Он какой-то страшный, – сказал я.

Она будто бы была очень удивлена и даже мельком посмотрела в мою сторону:

– Нет, – сказала она, – он не страшный.

Ярко-ярко светило солнце, я почти слеп, смотря на нее, надеясь, что она еще раз повернет ко мне лицо, но нет, просто встала и ушла. Я тут же побежал в лавку и, пока бежал, почувствовал так ясно, что как бы там ни сложилось, а деньги я достану – не потому что я хочу всяких глупостей, а просто чтобы долго-долго смотреть ей в глаза. Нет, совершенно определенно: несмотря на свою несомненную красоту, она не вызывала во мне ни капли мужского чувства.

* * *

Говорят, когда замок перестраивали, окно здесь, в подвале, специально прорезали так, чтобы из него был виден только крест над апсидой, больше ничего – чтобы ничто не отвлекло от самого главного. Вчера через это окошко мне кинули несколько монет – бог знает, зачем. Теперь-то они мне не нужны. Это тогда я понял, что живу среди денег, в окружении денег. Деньги были у хозяина в конторе и у хозяйки в спальне. На поясах покупателей и – тяжелые золотые эку – в подкладках курток клиентов. Я бежал с рулоном испанского сукна через город – и за каждым окном были деньги; где-то мало, сущие крохи, а где-то много – куда больше, чем мне было нужно. Это наполняло меня злобой, но в большей степени – удивлением; я никак не мог взять в толк, как же это вокруг столько денег – везде, везде, – а я паршивые две сотни должен обменять на пять лет своей молодости. Очень скоро деньги захватили мою душу полностью, весь мир я видел как бы в слегка желтоватом отсвете.

Прошло с неделю или около того – она пришла в лавку. Хозяина уже не было, жирный солнечный свет проливался в лавку с улицы, и с седьмым боем часов она скользнула внутрь. Я закрыл дверь (ни о чем не думая; просто я всегда так делал с седьмым боем), и мы остались в закрытой лавке вдвоем. Она прошла вглубь, уселась, поджав ноги, на сложенные под окном тюки, посмотрела на меня (я не видел ее глаз, только чувствовал взгляд) и сказала тихо:

– Что ты молчишь? Рассказывай.

– Что?

– Как что? Не знаю. Расскажи про свой товар.

Я что-то замямлил – в целом было понятно, что я не готов вот так вдруг начать что-то рассказывать.

– Ну что же ты. Тогда давай я. Садись.

Я облегченно вздохнул и сел рядом с ней – на рулон, по которому она провела ладонью. Тюки, рулоны, отрезы, образцы, конторка и gobелены на стенах были залиты мягким золотистым светом, пахло сухой и теплой пылью. Она откинула голову назад и начала протяжно:

– Когда-то, когда Собора еще не было... – По ее рассказу выходило, что святой (тот самый, который гонялся за девой, или нет – не знаю, не спросил) решил построить на красивом месте у реки храм и начал строить один, а потом ему стали помогать звери – медведи приносили деревья, лисы и волки прикатывали камни, зайцы таскали мох, и работа пошла у него так быстро, что очень скоро над лесом поднялся купол, и его стало видно из соседних деревень, и люди пришли посмотреть, увидели святого и зверей, но решили, что он колдун, раз ему повинуются хищники, напали на него и убили. И только когда к телу его сошлись звери и слетелись птицы, и оно стало благоухать и мироточить, люди поняли, что это святой, похоронили его под алтарем и стали строить дальше храм сами, а заодно и поселились вокруг храма.

Я смотрел на ее профиль, на то, как двигались ее губы и подбородок, слушал и никак не мог понять, выдумывает она или нет. Поэтому когда она закончила, я спросил:

– Это что, всё правда?

Она повернулась ко мне, подняла ладонь и провела по моей щеке.

– Ты всегда такой глупый или только со мной вместе? – спросила она со смехом.

Я был ошарашен ее прикосновением, к тому же мне стало вдруг страшно жарко, как будто бы меня вскипятили, – словом, я оцепенел и не мог пошевелиться, а она придвинулась ко мне, наши носы чуть не касались, я видел только ее огромные глаза, в них, казалось, что-то очень медленно ворочается (сейчас я думаю, что это было отражение крутившейся в лучах солнца пыли), и она зашептала:

– В крипте лежат гробы со всеми епископами, служившими в Соборе. Они ждут ангела, который вострубит, лежат в полном облачении, чтобы, как только Господь воскресит их, явиться пред Его очи в подобающем виде и воссесть рядом с Ним.

Наверное, я очень глупо смотрелся со стороны: она хохотала, глядя на меня, и чем слаще она заливалась, тем глупее я себя чувствовал – даже не потому, что я чего-то не понял, а потому что мне было приятно, что она надо мной смеется, я готов был слушать и слушать, сердце ныло от счастья.

Два дня я думал, прикидывал варианты, взвешивал решение: к вечеру субботы я понял, что единственное, что мне остается, – спуститься в крипту Собора. Судите сами: откуда мне взять две сотни? Заработать? Ха-ха. Грабить? Я не умею. Просить? Не у кого. В то же время, если под полом Собора и в самом деле лежит десяток гробов, и в каждом – епископ в полном облачении, то ничего не стоит выковырять пару камешков из любой митры, а потом у городских ворот отдать их какому-нибудь купцу – да, за цену вдесятеро меньшую настоящей, но больше мне и не нужно. Решительно: у меня не было ни одного другого варианта. Я успокоился, когда понял это.

Следующим утром на службе я проскользнул в южный неф и рассмотрел вход в склеп: это были четыре высокие ступени вниз и там, в тени, низкая дверь с тяжелым замком. Снизу поднимался тошнотворный сырой запах. Когда запели “Sursum Corda”, я ушел из Собора: мне предстояло придумать, как открыть замок. Поскольку всё уже было решено, ждать не имело смысла – я хотел как можно скорее совершить задуманное.

На площади у Собора я увидел Мартина; занимался он тем, что складывал из камешков некое подобие домика, потом решительным ударом рушил домик и тут же возводил его заново – ясно было, что он ждет, когда откроется кабак. Я сел рядом с ним. Он в очередной раз водрузил камешки друг на друга и махнул рукой:

– Р-р-р-раз! Эх, дьявол. Ну что, всё поют?

Я сказал, что поют. Мартин поднял голову к башне и протянул к ней руку (я понял, что он каким-то образом уже пьян):

– Вот так вот бы взять тебя – р-р-р-раз! – Потом он повернулся ко мне: – Выпьем?

Я сказал, что сегодня не могу, и Мартин сразу потерял ко мне интерес. Уходя, я видел, как он с остервенением лупит камнем по своему очередному сооружению.

Мне так и не пришлось в голову, как можно открыть замок на тяжелой двери в склеп, однако случилось вот что. На следующий день в лавке я увидел, как старуха Борода (так ее называют за – почему-то – усы, которые растут у нее на верхней губе) тащит к себе под подол отрез муслина. Хозяин в это время вел расчет с поставщиком, а я в тени переворачивал рулоны. Увидев, что происходит, я мгновенно, но очень тихо подскочил к старухе и схватил ее за костлявую лапу. Борода аж зашипела. Первым моим порывом было кликнуть хозяина, чтобы сдать ему старуху, которую ненавидел весь квартал, однако потом я вспомнил, что говорят про нее, – ведьма. Тогда я зашептал ей в ухо, что отпущу ее, если она научит меня открывать любые замки. Борода извивалась, кряхтела, но я держал ее тем крепче, чем яснее понимал, что это – мой единственный шанс. Наконец она повернула ко мне свое волосатое лицо, из ее маленьких глазок – настолько глубоко посаженных, что, казалось, они сидят у нее прямо внутри головы, – сочилась ненависть, я скривился от отвращения, но и она, должно быть, увидела на моем лице решительность, потому что, мгновение поразмыслив,

вглядываясь в меня, она проскрипела, еле приоткрыв мохнатую щель рта, чтобы я отпустил ее, а вечером приходил к ней:

– И на один полный оборот Солнца не будет ни одного замка в мире, который устоял бы перед тобой, – сказала она, и я понял, что моя взяла.

И то сказать: что ей оставалось? Если бы трое свидетелей уличили ее в воровстве (а ведь в лавке, кроме нее, как раз и было трое), ей в следующую же субботу на площади отрубили бы руку.

Я потребовал, чтобы она поклялась, что не обманет, и она поклялась Святой Девой. Потом Борода высвободила руку, растянула рот и выскользнула из лавки. Муслин остался у нее, но уже было поздно.

Я еле дождался вечера и, закрыв лавку, во весь дух побежал к Бороде. Дверь ее была заперта, и я стал стучать поднятым с земли камнем. Стучать пришлось долго, причем я уверен, что всё это время с той стороны двери я слышал сопение и смешки. Наконец дверь отворилась, я сделал шаг вперед и провалился во тьму. Дверь за мной захлопнулась. Я не двигался, глаза мои привыкали к темноте и постепенно я стал различать очертания комнаты – сундук, пучки трав под потолком, мешки в углу, горшки на полу, лавка, – впереди прямо передо мной стояла старуха, которая вдруг протянула ко мне ладонь и сказала:

– Руку!

Я не раздумывая вложил свою ладонь в ее руку. Она цепко ухватилась за мои пальцы и развернула мою кисть вверх. Пока я недоумевал, зачем это нужно, пока моргал, стараясь заставить свои глаза быстрее привыкнуть к темноте, сверху к моей руке спорхнула какая-то большая треугольная тень, и страшная боль разорвала мою ладонь. Я закричал. Борода сделала шаг ко мне и зажала мне рот свободной рукой.

– Молчи, дурак.

Я не обиделся на дурака, но замолчал – очень уж противно было чувствовать ее руку на своем лице. Тогда она потащила меня в глубь дома, там, в комнате с горящим очагом и столом посередине, она насыпала на мою ладонь (я увидел наконец три рваных раны и толчками вытекающую кровь) какой-то смеси из стоявшего на столе горшка и стала растирать, что-то бормоча и нашептывая. Может быть, она даже плевала на мою ладонь – не могу точно вспомнить, потому что в тот момент я был сосредоточен только на нечеловеческой боли, которую испытывал. Сколько это продолжалось – тоже не могу сказать; может быть, долго. Последнее, что сделала Борода, – взяла ленту чистой ткани и перемотала мне ладонь, строго запретив снимать до утра.

Потом она стала выталкивать меня из дома, ругая дураком и говоря, чтоб я забыл к ней дорогу. В передней комнате (глаза мои уже хорошо привыкли к темноте) я увидел висящую над входной дверью летучую мышь; мне даже показалось, что ее глаза мерцали багровым светом.

Когда утром я размотал руку, то увидел три чуть заметных полосы поперек ладони, больше ничего.

* * *

Я вынужден рассказывать всё быстрее и быстрее – пропуская множество подробностей, таких как погода (она всё портилась и портилась с каждым днем, становилось всё холоднее, но дождя пока не было, только ледяной ветер носил по улицам тучи колкой пыли), мои отношения с хозяином и хозяйкой (по правде говоря, они сократились до минимума, эти отношения; с хозяином я вел разговоры только по делу, а от хозяйки старался прятаться) или то, как именно падал оранжевый солнечный свет утром, когда я спешил отнести очередной заказ, – всё это, я знаю, имеет исключительную важность лишь для меня, к тому же, обме-

нивая все эти вещи на слова, я боюсь спугнуть их. В конце концов, правда заключается в том, что у меня почти не осталось времени, так что пооглядываться по сторонам не получается – успеть бы добежать до конца истории, пока еще можно.

Я не вижу первых солнечных лучей, их заслоняет Собор, да и слишком высоко мое окно, но апсида начала уже выделяться на фоне неба, приглядевшись, можно увидеть, какого цвета крыша (впрочем, это, может быть, только если заранее знать, что красного – но кто же этого не знает?), и то и дело мне кажется, что луч солнца вот-вот вспыхнет на трех ржавых прутьях в окне. Главное же – меняется запах: запах ночной крысиной сырости уходит, и – как знать, не кажется ли мне? – сюда, вниз, проваливается запах из пекарни, в печах которой уже поджариваются хлеба и слоеные булочки. Меня всё чаще трясет, и время от времени я проваливаюсь в забытие – сном это не назовешь, потому что едва я окунаюсь в темноту, как из нее навстречу мне выпрыгивают существа столь ужасные, что я, вопреки небывалому своему желанию спать, все-таки заставляю себя открыть глаза. Должно быть, от того, что я постоянно тру их кулаками, из них всё время сочится влага – вкус у нее, впрочем, не соленый, а горький.

На следующий день – во вторник, стало быть, три дня назад... нет, уже четыре, – я работал в лавке как обычно, до закрытия, и даже вечером пришел домой перекусить (есть мне совсем не хотелось, но я решил, что важно показаться на глаза и не вызывать подозрений своим долгим отсутствием). Кое-как затолкав в себя тушеную капусту, я сделал вид, что страшно хочу спать, скользнул под лестницу и лишь через четверть часа втихаря пробрался за дверь. Если что, такое приключение можно было бы объяснить подъябочными делами – шел к девице. В конце концов, не такой уж это было бы неправдой – в частности и потому, что, придя на площадь, я нашел там ее.

Было темно, но в свете костра, который горел с краю на площади, я видел ее профиль – она сидела, высоко задрав голову, – а когда я подошел и сел рядом с ней, то разглядел и красный отблеск в глазах (в глазах, говорю я, хотя видел только один). Я был странно спокоен – как будто шел что-то купить по мелочи, а не грабить могилы, – но она, казалось мне, была сама не своя: стоило мне сесть рядом, как она резко обернулась ко мне – глаза ее были темнее обыкновенного и, видимо, из-за костра, создавалось впечатление, будто глубоко внутри ее глаз что-то медленно-медленно ворочается, – а потом так же порывисто схватила мою руку (не ту, другую) и сжала ее. Несмотря на то что у меня тут же закружилась голова и тело мое почувствовало себя так, будто стало куда-то падать, падать, – несмотря на это, я все-таки хорошо помню, что нежная узкая ее ладонь была холодна, как камень.

Потом она потянулась губами к моему уху и прошептала:

– Сегодня будет дождь.

Я не знал, что сказать: ну будет и будет.

Помолчав, она снова повернула лицо ко мне, и я мог долго, не отрываясь, смотреть на нее. Потом она взяла мои пальцы и поднесла их к своей щеке – я тут же отдернул их, так это было неожиданно. Глядя на нее, всматриваясь в ее глаза, следуя взглядом за линиями ее губ, я сам, кажется, пропал куда-то, – а это ее прикосновение как будто напомнило мне обо мне. Тогда она отпустила мою ладонь и поднялась на ноги. Волосы ее раздуло порывом ветра, и опять мне показалось, будто язык зеленого пламени лизнул их. В этот момент я вдруг сам схватил ее за запястье – очень мягко, впрочем, почти не касаясь.

– Подожди меня здесь, – прошептал я, – или приходи сюда ближе к утру.

Она высвободила руку, едва заметно сжав на мгновение подушечки моих пальцев, и шагнула в темноту – туда, где я уже не мог ее видеть.

Оставалось самое главное.

Из костра на краю площади я взял обугленную ветку, подул на нее: краснеет, – хорошо. В круге около костра Собора не было видно – вообще ничего не было видно; тьма хоть глаз

коли, – но стоило отойти от огня и немного подождать, как становилась ощутима его каменная громада, а в небе проступало какое-то бурление. Воздух был холодный, порывы ветра резкие, как пощечины, и приносили мокрый освежающий запах. На противоположном конце площади, у кабака, слышно было, как допивают пьяницы. Я подошел к Собору, положил руку на стену рядом с порталом и осторожно, но как можно быстрее направился к северной стене – там я рассчитывал открыть маленькую, прятанную в тени аркбутанов дверцу.

Нащупав дверь в Собор (низенькая, она была едва мне по плечи), я чуть подул на ветку и увидел внушительный засов. Видно, впрочем, было плохо: я стал ощупывать засов, пытаюсь понять, как он снимается, и вдруг обнаружил, что он сломан. Я обрадовался, решив, что это знак моей грядущей удачи, юркнул внутрь и затянул дверь. Теперь, внутри гулкой каменной громады, я мог слышать, как бьется мое сердце.

Хотя внутри Собора никого не было и быть не могло, я все-таки старался не шуметь. Чуть-чуть подразднув ветку, я стал пробираться к алтарю, а потом обходить его: дверь в склеп была с южной стороны. По дороге я чуть было не уронил тяжелый канделябр, еле удержал его и невольно выругался, тут же перекрестившись, а потом больно запнулся о скамейку, стиснул зубы, но не закричал. Подойдя к ступеням, ведущим в склеп, я достал из мешка палку с просмоленным концом – таких у меня было с собой несколько – и поджег ее от ветки. Разгоревшись, она стала светить хоть неярко, но ровно. В тусклом этом свете я вновь увидел огромный замок на двери – до сих пор я не задумывался, как именно открою его: раз уж Борода не дала мне никаких инструкций, думал я, вопрос должен решиться как-то сам собой. И в самом деле: когда я недолго думая спустился по ступеням вниз (каждая ступенька была холоднее предыдущей, а на последней уже чувствовалась скользкая сырость) и раненой рукой провел по замку, внутри него вдруг что-то как будто коротко простонало. Я слегка потерял замок, и он легко, как сухое печенье, развалился пополам. Только теперь я понял, что и засов на уличной двери был цел, пока я не коснулся его.

В первую секунду я подумал, что не смогу дышать в склепе, такая удушливая вонь полилась оттуда, стоило мне сдвинуть дверь. Однако пока я собирался с духом, запах стал менее ощутимым (теперь я думаю, что это просто я так быстро привык к нему), и уже ничто не мешало мне шагнуть вперед. Я осветил в дверной проем факелом и пошел. Ноги мои оказались в воде.

Воды было немного – по щиколотку, не больше; страшнее всего был плеск, который я невольно вызвал, – звук заметался меж каменных стен, попрыгал по поверхности воды, и вдруг стало ясно, сколь велика зала, в которую я попал. Впрочем, не только: шум воды вызвал к жизни и другие звуки – шорох, шепот, топот. Я стал медленно, рассекая голенищами сапог поверхность воды, двигаться вперед; света от факела хватало, чтобы видеть на пару шагов во все стороны – за пределами этого светового пузыря клубилась жирная, маслянистая темень. Разлитая в воздухе затхлая вонь была ужасна, но, наверное, я бы даже не понял этого, если бы не привычный запах горячей смолы от факела в моей руке. Сколько бы я ни старался идти бесшумно, это, конечно, не получалось (да и факел потрескивал при горении), и скоро мне стало казаться, что меня окружает, за мной следует целая толпа каких-то сопящих, сморкающихся и хрюкающих существ. Или это был обман слуха – как, бывает иногда, в абсолютной тишине слышишь как будто какой-то посвист.

Мне пришлось пройти шагов двадцать, прежде чем я увидел перед собой камень. Я не сразу понял, что это могила – но что здесь еще могло быть? – высокий, мне по пояс постамент, на котором лежал большой каменный гроб, накрытый тяжелой плитой. На камне были выбиты какие-то слова, но я и так-то не силен читать, а тут еще стоя по щиколотку в воде, при тусклом свете факела... Тем более что факел не освещал всю поверхность плиты одинаково, и мне почудилось, будто с дальнего ее конца шмыгнула прочь какая-то скользкая тень. В любом случае я не хотел открывать первую попавшуюся могилу – бог знает, сколько

могло понадобиться на это времени; я вообще хотел обойтись одним гробом, а для этого нужно было найти самый богатый.

Словом, я обошел постамент с гробом и стал двигаться дальше. Через десяток шагов я снова наткнулся на постамент, точно такой же, как первый. Потом еще раз и еще. Я шел всё время только прямо и прямо, но в какой-то момент засомневался, а не кружу ли я от могилы к могиле, принимая две за десяток. Мне казалось, я прошел уже так далеко, что под землей должен был выйти даже за пределы Собора. Ясно, что так мне казалось из-за того, что я очень медленно шел. Вокруг меня всё продолжало скрестись, булькать, похихикивать; стоило мне остановиться – всё затихало, тишина становилась такой, что даже слышно было, как задувает где-то сквозняк, а где-то капает с потолка, – но только я делал шаг, как гомон вокруг меня взрывался с новой силой.

Наконец, холодея и еле поднимая потяжелевшие ноги, я дошел до той могилы, которую искал. Я сразу понял это: постамент был выше предыдущих, а вместо простой плоской плиты с буквами сверху лежал настоящий резной камень, изображающий сцену Страшного суда: мертвые поднимались из земли и выстраивались в очередь к Христу, который одних отправлял наверх, к ангелам, а других, большую часть, – вниз, где их поджидали черти с вилами и горели костры. Факел мой уже почти дотлевал, я положил его сверху на могилу, достал из мешка крепкую палку, которую накануне специально для этого заточил, и стал вгонять ее в щель под резной крышкой. Удары камня о палку получались такие громкие, что эхо от них, кажется, отдавалось даже наверху, в Соборе; между ударами повисала звенящая тишина. Меня лихорадило, но я заставлял себя бить реже и крепче. Когда рычаг мой оказался наполовину вогнан, я положил камень обратно в мешок, уперся плечом в палку и стал поднимать ее.

Мне удалось сдвинуть плиту на локоть, и я решил, что этого достаточно, – иначе она, не дай бог, упадет. Сдерживая дрожь в руках, я достал новый факел. Теперь я увидел, что лежит под плитой. Я увидел истлевшие кости и поверх них – расплывшееся рванье, бывшее, очевидно, когда-то епископским облачением. Мгновения, пока я рассматривал инкрустированные митру и посох, перстни на пальцах, камни, обвалившиеся с одежды и лежащие просто вперемешку с костями, – было тихо, но понял я это только после того, как снова раздались щелкающие, скрежещущие, топчущие звуки. Они как будто подстегнули меня; я отбросил робость и запустил руку в гроб.

Внутри кости и камни лежали в чуть жидкой грязи. Вытягивая пальцы, я выплавливал из нее мелкие красные и зеленые искорки. Шум не прекращался, факел чадил и мигал, тьма вокруг двигалась, перекачивалась сгустками и всё время грозила сомкнуться над моей головой. Мне стало казаться, что из темноты проступают фигуры – то это были осторожные трехпалые лапы, то раздувающиеся огромные ноздри, то извивающиеся острые хвосты, – все они двигались на периферии взгляда: стоило повернуть голову, они тут же замирали и сливались с темнотой. Я стал слышать стоны и крики, полные скорби и отчаяния, – как будто кто-то хотел докричаться до меня с другой стороны мира, разжалобить меня или внушить ужас. Я подцепил ногтем большой камень из наверхия посоха, потом приступил к митре и почувствовал на себе взгляд мертвеца. Череп был абсолютно пустой, и стоило сосредоточить взгляд на неровных провалах глазниц, видна была только пустота. Но когда я возвращался к камням, я вновь чувствовал, что череп подглядывает за мной, еле сдерживая смех.

Мои руки прыгали от одного камня к другому, я неловко дергал пальцами, камни закатывались куда-то в глубь гроба, и я уже не доставал их; я решил не смотреть ему в глаза, терпеть, пусть, в конце концов, смотрит, какая разница. К треску, ударам, крикам теперь прибавилась моя собственная кровь, которая стучала в ушах, как молот по наковальне. Последнее, что я решил взять, – кожаный мешочек, лежавший на ребрах. Вытряхнув его, я увидел гладкий, но неровной формы красный камень – он был тяжелый, и внутри него как

будто что-то вспыхивало. Я зажал камень в кулаке, и нечеловеческий крик вырвался из моей груди: на моем запястье сомкнулись костяные, увешанные золотыми перстнями пальцы. Я рванулся было назад, но непреодолимая сила потащила меня внутрь гроба и притянула мое лицо к черепу мертвого. Я продолжал кричать, а мертвый хитро смотрел на меня и в голос хохотал. Смех его был злорадный, издевающийся. Наконец та же рука с болтающимися на костях перстнями с бешеной мощью подняла меня в воздух, оттолкнула прочь, и я отлетел на несколько шагов назад, больно ударившись головой о край соседнего постамента.

Через несколько мгновений (так мне показалось, что прошло несколько мгновений, но точно я не знаю, конечно) я очнулся в темноте, весь мокрый; ладонь моя продолжала судорожно сжимать неровной формы камень. Я опустил его в карман, к другим собранным в гробу камням, и тут почувствовал, какое тяжелое у меня платье. Встав на четвереньки, я пошарил руками вокруг: факела нигде не было, мешка тоже. Опираясь о могилу, я встал: с меня стекала вода, ноги подкашивались от слабости, руки дрожали. Темнота вокруг была чуть заметно окрашена багровым. Обернувшись, я увидел выход: за дверью, которую я оставил открытой, что-то светилось. Шум, который слышал я всё это время, сделался отчетливым и громким. В ужасе я двинулся в сторону двери. Первые несколько шагов дались мне с трудом, зато потом я почти побежал и всё отчетливее видел, какое возмущение воды поднимают мои ноги, всё больше различал в окружающей темноте каменные гробы и рассыпающиеся по ним крысиные тени. Добежав до двери, вцепившись в нее, я выскочил на ведущие вверх ступени (вода, отпуская мои ступни, с сожалением хлопнула) и застыл в ужасе: то, что в подземелье я принимал за шепоты и почесывания, топотания и подхихикивания вырвавшихся из заточения жителей ада, было совсем не то – вокруг меня стоял оглушительный грохот пожара.

Горели хоры с северной стороны и часть трансепта: леса казались раскаленным докрасна металлом, хрустели колонны трифория, стропила, рассыпая целые облака искр, падали с высоты на тяжелые скамьи, разламывая их, как пруттики, дым ураганом уносился куда-то вверх и оттуда стекал по стенам, за окнами, было видно (они светились, хоть и не как днем, но всё же ярко, только другим, зловещим и грязным светом), полыхало еще хлеще; из оцепенения меня вывел взрыв лопающегося стекла – водопадом рухнул в пламя витраж – ангел, встречающий Марию у пустого гроба, – причем я почему-то почувствовал злорадство, вспомнив, как в прошлом году епископ всем уши прожужжал о щедрости графа.

Путь к двери, через которую я пробрался в Собор, был отрезан, и я рванул к западному порталу – а что мне было еще делать? Я бежал, утопая в плотном дымном киселе, чувствуя, как дым начинает забираться мне в нос и в рот. Больше всего я боялся споткнуться и упасть, и все-таки не мог заставить себя бежать помедленнее. Створки ворот вырастали надо мной, как грозовая туча, – я бежал к ним, слыша, как с той стороны бьют чем-то тяжелым, еще не зная, что буду делать, когда добегу, бежал, беспомощно выставив руки перед собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.